

рассказы и повести

ЕРМЕК
ТУРСУНОВ

МЕЛОЧИ ЖИЗНИ

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Ермек Турсунов

Мелочи жизни

«Автор»

2016

Турсунов Е.

Мелочи жизни / Е. Турсунов — «Автор», 2016

В книге "Мелочи жизни" страницы биографии известного казахстанского кинорежиссера Ермака Турсунова, написанные им самим: от детских воспоминаний до кинематографической кухни. Это не только письменный слепок целой эпохи, где были свои великаны души и карлики тщеславия. Эта книга напоминает ту самую красную таблетку в руках Морфеуса из культового фильма братьев Вачовски "Матрица", которая помогает вырваться из ловушки многих стереотипов и ложных иллюзий. Эта книга лечит мозги от лени. Хотя, по словам самого Ермака, он лишь отвечает за то, что делает, но может отвечать за то, как вы это понимаете. Книга предназначена для широкого круга читателей. Содержит нецензурную брань. В книге использованы фотографии из личного фотоархива Е. Турсунова. Фотография на обложке - В. Харченко.

© Турсунов Е., 2016

© Автор, 2016

Содержание

Приквел	5
Майский жук	6
Конец ознакомительного фрагмента.	62

Ермек Турсунов

Мелочи жизни

Приквел

От автора

Эта книжка ни в коем случае не мемуары. Не нравится мне это слово. От него пахнет нафталином. Бабушкиным сундуком. Хотя я не имею ничего против бабушкиного сундука. Там всегда было много разных «ништяков»...

Скорее всего, эта книжка – художественное осмысление жизни. Ироничный взгляд на этот мир и на свое мимолетное присутствие в нем. Отдых в тени столетнего карагача после жаркого дня. Глоток родниковой воды после долгой дороги.

Много чего видел, пока шел. Много чего слышал.

Осталось послевкусие. Приятная такая усталость.

Хочу поделиться. Рассказать, что видел, кого слушал, с кем дружил и кого любил. Говорят же, что любовью надо делиться. Тогда ее становится больше.

Ермек Турсунов,
октябрь 2016 года

Майский жук

Кошкар

Вот считается, «баран» – оскорбительное слово. Обзывательство. Говорят: тупой, как баран; упертый, как баран; вылупился, как баран...

В современном молодежном сленге прижилось слово «овца». По смыслу – то же самое, но уже по отношению к женскому полу.

У нас, у казахов, с баранами и овцами также мало приятных ассоциаций. «Семіздікті кой гана кетеред!» – так говорят, когда имеют в виду лишний жирок. Примерный перевод: «Жирдяйство к лицу только барану».

Есть и подоплека: сытый голодного не разумеет. Это про нынешних мажоров, чьи мозги заплыли бараньим жиром.

Про покладистость и чрезмерную скромность говорят: «Койдай жуас». То есть безмолвный, бессловесный, в смысле – бесхарактерный. Мямля. «Мякиши для беззубых», «пластырь для нарывов» (М. Горький).

Словом, все, что связано с бараном, неприятно и малосимпатично. Впрочем, есть у меня в записке одна история, которая будет особенно близка тем, у кого в прошлом было аульное детство. Считайте, что история эта – голос в защиту тех самых безмолвных, бесхарактерных и излишне покладистых.

Ну, во-первых, надо признать, бараны – народ дисциплинированный. По одному не ходят. Кучкуются. Пасутся строго в коллективе. Стадо баранов – мечта правителя.

Главная составляющая стада – кротость. Безропотность. В толпе легче затеряться. Даже если ты и подашь голос, тебя не услышат. Поэтому баран-одиночка – нонсенс.

Дальше.

Никто не знает, сколько живет баран. Потому что бараны от старости не умирают.

Вот собаки, скажем, живут в среднем двенадцать – пятнадцать лет. Лошади – двадцать пять. Ну тридцать, максимум. Слон может протянуть пятьдесят. Иногда – шестьдесят...

А вот сколько живет баран – неизвестно. Даже сами казахи не знают. Ибо судьба его изначально предопределена. Ни один баран не умер еще своей смертью.

Бараны по определению не любят человеческие торжества по тому или иному поводу. А самый ненавистный баранами праздник – Кур-бан-айт...

Да чего там говорить! Много разных несправедливостей связано с ним – с несчастным бараном. А между тем кочевники, как никто другой, должны быть благодарны именно ему – барану. Мы в неоплатном долгу перед ним. Поскольку именно он – баран – взял на себя главную нагрузку, связанную с выживанием в этой голой степи. И сколько уже веков обеспечивает это самое выживание...

Поэтому не случайно состояние человека считали не в собаках и не в кошках. Считали в баранах. Говорили: «Койын болмаса, байлықта ойын болмасын» – «Не стоит думать о богатстве, если у тебя нет овец».

И какие бы катаклизмы ни случались в мире торгашей, как бы ни колбасило нефтяные биржи и мировые банковские системы, до сих пор баран – твердая валюта в проведении торговых операций на бескрайних просторах моей степи. И, должен заметить, не только в провинции.

Естественно, за многие годы совместного проживания мы многое узнали друг о друге.

Например, мы, люди, различаем баранов не только по характеру и породам. Есть и другая классификация. Возрастная.

Вот, скажем, новорожденный баран – это *козы*. Шестимесячный баран – *токты*. Годовалый баран – *исек кой*. Двухлетний баран – *кунан кой*. Трехлетний баран – *донен кой*. Кастрированный, извините, баран – А вот племенной баран – *кошкар*...

Все это я говорю без смеха. Ну, возможно, с легкой улыбкой, но без фиги в кармане.

Так вот – вернемся к нашим баранам.

Я о Кошкаре. О моем славном старом дружбане детства, которого я уж точно не забуду никогда.

Окот у овец обычно происходит в феврале – марте. К этому времени в аулах готовят небольшие загородки в сараях. Утепляют их, потому что новорожденные ягнята могут замерзнуть в общем стойле.

Кто-то мастерит «ясли-сад» дома. У печки. Вот и у нас, помнится, отец загодя сколачивал из тонких штакетин невысокий загончик с мягкой подстилкой и собирал новорожденных там. Довольно скоро в «садик» набивался шумливый и беспокойный народ. Днем ягнят относили к мамкам на завтраки-обеда, а на ночь оставляли дома.

Однажды наша самая старая и заслуженная овца принесла двойню. Первый ягненок родился мертвым, а второго она почему-то отказалась кормить. Так и бродила безутешно по сараю, помешавшись от горя. А тот тыкался в мамку, жалобно просил сиську. Бесплезно. Мамаша нагнется к нему, принимает – и дальше круги наматывать. Видимо, что-то у ней там, в материнском сердце, оборвалось...

Короче, ягненок был обречен. И тогда я забрал его себе. В буквальном смысле заменил ему мать.

Первым делом я сделал что-то вроде детской смеси: смешал манку с молоком и натянул на бутылку соску. Ягненок не сразу сообразил, что к чему, но голод не тетка. Постепенно привык. А потом и вовсе втянулся. Увидит бутылку – бежит!

Теперь распорядок дня у меня кардинально изменился. Теперь все строилось по графику. Как у молодой матери.

Рано утром, в шесть, я вставал, готовил смесь и кормил ягненка. Потом завтракал сам и уходил в школу. В первый класс. В школе я неожиданно для себя открыл, что не могу больше думать об уроках. Все мои думы занимал теперь ягненок. Я беспокоился. Что он там делает? Что ест, как спит, где спит, и вообще – не забодал ли его кто-нибудь из воинственных соседей?

Из школы я со всех ног бежал домой.

Наступал обед. Естественно, с первым, вторым и компотом. После обеда – небольшая прогулка по дому. Потом – тихий час. Он любил, когда я чесал его за ухом. Так он легче засыпал.

Ну и вечером, как положено, ужин. После ужина – игры. После игр – сон.

Естественно, через какое-то время между нами образовалась, можно сказать, родственная, если не сказать кровная, связь.

Ягненку нужно было имя. Не жить же ему безымянным! Долго думать на эту тему не пришлось “ягненка я назвал Кошкар. Чего мудрствовать?

Кошкар рос довольно смышленным малым. Имя свое он запомнил и легко на него отзывался.

Как круглому сироте, ему делались послабления. Только Кошкару было позволено покидать загончик и гулять по дому. Я помню, как цокали его копытца в дальних комнатах, где он исследовал закоулки. Любопытный был, скажу я вам. Вечно чего-то выискивал, исследовал. Потом приходил и ложился у ног, пока я делал домашние задания. Так и засыпал. Теплый. Кучерявый. И шерсть на нем была белой, как только что выпавший снег. И мягкой. Глаза – черные, цыганские. Вместо носа – пуговица. Одним словом – мультфильм. Живая игрушка.

А потом наступила весна. Скот весь собрали в колхозное стадо и погнали в горы. Кошкара я оставил при себе. Все равно мать от него отказалась.

Так он и остался жить у нас. Дома.

...Времени мы с ним не теряли. Я взялся за его образование.

Ну в каком смысле – образование? Короче, я стал делать из него собаку.

Довольно быстро он освоил команду «Лежать!». Еще пару месяцев мы потратили на «Сидеть!», «Апорт!» и «Голос!». По команде он и ложился, и садился, и палку приносил, и голос подавал.

Тяжелее всего нам дался «Фас!».

Кусать он, естественно, не мог, а бодать еще не умел. Путем долгих и напряженных тренировок Кошкар наконец допер, чего от него хотят.

Вначале бодал меня. Потом – того, на кого покажу. Потом – кого выберет сам. Выглядело забавно.

Услышав команду «Фас!», Кошкар застывал на месте, как-то странно клонил голову набок, потом делал несколько шагов назад и с разбегу втыкался безрогим лбом...

Ростом он был чуть выше моих колен. И весу в нем было килограммов пять. Поэтому поначалу всех эта милая забава умиляла. Через какое-то время, когда Кошкар набрал вес, она перестала быть веселой. Но об этом позже. А пока Кошкар жил дома, пасся в саду, ходил за мной по пятам, как преданный щенок, и вполне себе рос в атмосфере всеобщего приятия.

Когда Кошкар вступил в возраст такты, тинейджер – по-нашему, он стал ходить со мной на колонку за водой. Иной раз сопровождал в поселковый магазин. Пока я покупал хлеб, он оставался ждать у входа.

Еще через какое-то время он стал завсегдатаем наших мальчишеских посиделок. Устраивался где-нибудь рядышком и молча слушал нашу болтовню.

Пристрастился ходить на футбол. Мы рубились, а он пощипывал неподалеку травку. Благо поляна футбольная была у самого поднося гор. А там травы разной пахучей – немерено. Пасись – не хочу.

Все к нему давно привыкли и ничего особенного в этом всем не видели. Ну Кошкар и Кошкар.

Кстати, чуть не забыл. Дома Кошкар вел себя совсем по-собачьи. Например, не пускал чужих во двор. Соседи, привыкшие по-аульному без спросу, вваливаться в дом, быстро усвоили новые правила и после нескольких «нежданчиков» от Кошкара предпочитали стучаться в ворота. Или звать хозяев из-за забора.

И все равно случались казусы.

Помнится, заглянул к нам как-то чабан. Ильяс-ага. Он спускался раз в месяц с гор и ходил по дворам, собирая плату за скот. Зашел и к нам. А мы с пацанами сидели на крыше соседского сарая. Ели урюк.

И вот смотрим, заходит к нам во двор Ильяс-ага. Степенный такой, невозмутимый аксакал. Фронтвик. В пыльных сапогах, с плеткой в руке. В выцветшей на солнце шляпе. Он еще слегка прихрамывал после ранения.

Коня он привязал к забору – и вошел. И кричит:

“Каримжан! Каримжан!

Папку моего, значит, зовет.

Кошкар, давно уже приучивший всех к новым порядкам, поначалу даже опешил от такой наглости. Привстал и принял выжидающую позу. Мы затаили дыхание. Смотрим – что дальше будет.

Ильяс-ага подошел к окну и легонечко так постучал. Кошкар не спеша приблизился к прищельцу и предупредительно потерся о ногу. Старику бы насторожиться... Но, с другой

стороны, – что для чабана баран? Он взял да и оттолкнул Кошкара. Да еще и стеганул плеткой: отстань, мол, опупел, что ли? животное!

Это было ошибкой. Непростительной ошибкой. Особенно плетка. Не надо было плеткой. Но чего уж теперь... Ильяс-ага отвернулся от Кошкара и, ничего не подозревая, направился к двери. Что там происходит за спиной, Ильяс-ага не видел. И видеть, естественно, не мог. А там...

Кошкар, вконец охреневший от такого хамства, отошел на максимально допустимое количество шагов назад, прицелился и на полном ходу, со всей своей бараньей дури долбанул старого фронтовика аккурат чуть пониже спины. А надо сказать, пару дней назад мы выстелили во дворе свежий асфальт;..

Как он летел, бедолага! Этот Ильяс-ага. Сколько свежевystеленного асфальта пропахал носом! Мы потом считали – одиннадцать шагов!

Сказать, что он не ожидал такой подляны, – значит ничего не сказать. Он не мог даже мысли такой допустить!

Как так?! Баран?! Чабана?! Фронтовика?! Орденоносца?! И это после форсирования Одера?! После штурма славного города Гданьска?! ..

В общем, шляпа полетела в одну сторону, плетка – в другую. Сам Ильяс-ага – ласточкой по асфальту.

И что любопытно – с перепугу он перешел вдруг на русский!

– Дуракпысыц?! – заорал он дурным голосом. – Ей, дуракпысын,?!

Видимо, в самом дальнем углу его чабанского мозга последняя трезвая мысль отказывалась верить, что казахский баран может поднять руку, то есть рога, на казахского же чабана. Так мог поступить только невоспитанный баран. Глупый баран. Баран чужих кровей. Баран, который не чтит устоев. Не уважает традиций...

А Кошкар не обращал внимания. Он упрямо выцеливал и все наскакивал, норовя достать лбом в лоб.

На шум и крики сбежались соседи.

Впрочем, вмешиваться никто не торопился. Все уже прошли подобное испытание на психологическую устойчивость. Поэтому предпочитали давать советы, оставаясь за забором.

– Ляг и замри! – предлагал Каиржан. – Притворись мертвым!

– Беги в сарай! – кричали другие.

– Залезь на лестницу!

– Ползи в сад!

Неизвестно, чем бы все закончилось, не подай я команды с крыши соседского сарая:

– Кошкар, фу!

Кошкар замер как вкопанный, потом нехотя отошел в сторонку и лег. Довольный. Отощенный. Величавый. Я им гордился.

Чабан, для которого законы мира в одно мгновение претерпели кардинальные изменения, бросился вон.

Вот такое вот приключилось.

Между тем время шло. Я переходил из класса в класс. Кошкар тоже рос. Мужал. Матерел. Весил он уже неприличные для барана шестьдесят с лишним кило. Ходил вразвалочку. Вышагивал как боцман по палубе. Стал ленив, задумчив. Потерял интерес к долгим прогулкам. Даже на футбол перестал ходить. Все больше оставался дома. Валялся в саду и жевал свою бесконечную жвачку. Так он окончательно превратился в «агашку» с тяжелой поступью, с рогами в три винта и со взглядом исподлобья. Играть с ним уже никто не пытался. Шутить – тем более. Себе дороже.

Но мы по-прежнему оставались с ним «своими пацанами». Бывало, я выносил в сад корешки, и мы любили повалиться на них вдвоем. В тени яблонь и слив.

Я читал книжки. Вслух. Он любил «Мцыри» Лермонтова. Лежал рядом. Слушал. Не перебивал. Так и засыпали.

И вот приехал из армии мой старший брат. Отслужил.

Как и положено, должны были закатить той. Меня почему-то отправили в город. К родне. На пару дней. А когда я приехал, то Кошкар не нашел.

– В стадо отдали, – буркнул отец.

Я удивился. Кошкар никогда не ходил в стаде. Он бы не смог. Он вообще не понимал, как это можно ходить толпой – в стаде? Да и зачем его отдавать? Скоро зима.

А через пару дней я наткнулся на шкуру. Она висела в сарае. Я подошел ближе и потрогал ее.

Эти завитки я бы узнал на ощупь даже с закрытыми глазами...

Так я впервые в жизни столкнулся со смертью...

Помнится, долго еще сидел в сарае. Под сохнувшей шкурой. И никто в окружающем меня мире не слышал и не видел моих слез.

А кто бы меня понял? Кто бы услышал? Кто бы пожалел? Подумаешь – баран. Обыкновенный баран. На то он и баран.

А я вам вот что скажу.

Бараны – они, знаете ли, бывают разные. Впрочем, как и люди...

Капитан Тенкеш

Когда-то, давным-давно, когда в школах еще уважали учителей, а в футбол играли резиновым мячом, когда девочек ругали за короткие юбки, а мальчиков – за длинные волосы, когда сахар считался конфетой, а сосулька – мороженым, когда кусочек гудрона был жвачкой, а воду пили из колонки...

Короче, когда-то, давным-давно, в незапамятные времена, по телевизору показали фильм «Капитан Тенкеш». Венгерский, если не ошибаюсь. Из серии про непобедимого славного героя, борца за правду и справедливость. Не «Терминатор», конечно, но очень даже ничего. Захватывает. Особенно запомнился один эпизод.

...Капитан Тенкеш уходит от погони. За ним по лесу гонятся враги. Тенкеш один. Патронов у него не осталось. Друзей всех поубивали. Лошадь – и та, бедная, ранена! Еле скачет, припадая на одну ногу. Тенкеш передвигается на ней по густому лесу, но враги настигают. Видны уже их паскудные улыбочки в предвкушении скорой расправы.

И тогда капитан вдруг сворачивает на совершенно голую полянку. Посреди этой поляны растет какой-то невзрачный кустик. Один-един-ственный! И все. Больше тут ничего нет.

– Ну зачем? – схватился я за голову. – Зачем ты выскочил из леса?! Там ведь легче спрятаться!

Но Тенкеш – бывалый вояка. Его так просто не возьмешь.

Знаете, что он сделал?

Он направился к тому самому кустику, прыгнул с лошади и стегнул ее плеткой. Лошадь убежала. А Тенкеш взял да и... «открыл кустик». То есть буквально: потянул на себя куст – и он... открылся.

Под ним оказался целый подвал. Погреб. Пещера. Схрон. Или как это называется? Короче, там была просторная комната. С лежаком. Лампой. Полками. Оружейным шкафом и кучей еще всякого полезного, на случай войны, добра.

Тенкеш прыгнул вниз, «закрыв кустик», и враги, облапошенные таким вот красивым образом, проскакали мимо.

– Вот это да! – выдохнул я в восхищении.

И – все. И заболел. Мне тоже захотелось такой же подвал. Погреб. Пещеру. Короче – схрон.

Наутро я зарядил своих лучших дружбанов – Витьку и Кудайбер-гена по кличке Кортык (Коротышка) – новой идеей. Только им я мог доверить такую личную вещь.

Конечно же, они тоже все видели. Конечно, капитан Тенкеш резко изменил все наши представления о жизни. Просто взял и поставил все с ног на голову. Даже Гойко Митич с его черепашым панцирем вместо живота и зубодробильным кулаком отошел на второй план, и судьба далеких делаваров на какое-то время перестала нас беспокоить.

Естественно, пацаны поддерживали меня безо всяких оговорок: им тоже ужасно хотелось занять такую же пещеру, подвал, погреб, схрон – ну, словом, штаб. Где бы мы могли собираться время от времени и строить свои планы. И никто бы не знал – где мы. Этот штаб стал бы нашей тайной. Нашим убежищем. Нашим миром, в котором мы могли бы жить так же, как жили в наших любимых фильмах наши обожаемые герои.

Оставалось только определить место, где предстоит соорудить штаб. Стали думать.

Где?

Во-первых, надо, чтобы место было удобным. И неожиданным. И в то же время – чтобы не вызывало ничьих подозрений. По ленинскому принципу, когда легче оставить вещь на самом видном месте, чтобы невозможно было ее найти. Ищут же очкарики свои очки, которые у них на носу.

Насчет ленинского принципа поясню.

На уроке истории нам рассказывали, каким ушлаганом был по жизни вождь мирового пролетариата.

Пришли к нему однажды жандармы с обыском. Искали какую-то запрещенную литературу. Вождь привел их в комнату, где на полках стояли книжки от пола до потолка. И тогда вождь притащил им для удобства стремянку с табуретом. Нател, мол, ищите. И ушел. А жандармы сразу же полезли наверх и, пока искали, – умаялись. И ушли ни с чем. А хитрость заключалась в том, что запрещенная книжка была в самом низу. Пока до нее доберешься, у простого человека мозги начнут плавиться. А вождь был человек непростой. Они у него не плавились. Он много читал. И писал много. На то он и вождь.

Нынешние ведь тоже много чего пишут. Или теперь они сами уже не пишут? За них пишут? Впрочем, какая разяща? Их все равно никто не читает...

Короче, нам нужно было найти место, где можно будет незаметно выкопать пещеру (подвал, штаб, схрон). Не станем же мы ни с того ни с сего копать яму прямо на людях! Вопросы возникнут.

И куда-то надо будет потом девать свежую землю...

Я сейчас не помню, кому первому пришла идея, но она была просто потрясающей! Неотразимой! Ошеломительной!

Огород! Любой.

Пусть – мой. Пусть Витькин. Пусть кортыковский.

Почему?

Чтобы никто не догадался. Ну копают и копают. На то он и огород, чтоб копать.

Во-вторых, есть куда девать землю. Раскидал по сторонам, никто не придаст значения.

В-третьих, совершенно неожиданное место. Кто попрется искать нашу пещеру (подвал, штаб, схрон) в огород? А это ведь практически в самом тылу! Можно сказать, у всех под самым носом. И оттуда совершенно незаметно можно будет вести наблюдение.

И кстати, что немаловажно, его легко можно будет потом оборудовать. То есть натаскать разную разность: стулья там, мебели... Всё под боком и носить недалеко.

Вдохновленные блестящими перспективами, мы не стали откладывать дело в долгий ящик. Сразу же после уроков дружно взяли по лопате и гуськом отправились ко мне в огород.

Отец мой поначалу удивленно вскинул брови, но ничего говорить не стал, дабы не сбивать трудовой порыв. Лишь, слегка прибалдевший, тайком проследовал за нами и занял выгодную для наблюдения позицию в густом малиннике.

Честно говоря, разведчик из моего папани никакой, иначе зачем, спрашивается, надо было дымить беломориной, стоя в малине по грудь? Наблюдательный пункт был моментально рассекречен. Поэтому мы честно принялись вскапывать грядки и бороться с сорняком. Пошпионив за нами минут десять, отец, вконец сбитый с толку, удалился.

И работа закипела.

За час мы углубились примерно на метр. А надо сказать, на уроках я тоже не терял времени зря и нарисовал примерную схему будущей пещеры (подвала, штаба, схрона), чтобы не копать вслепую.

По этой схеме штаб начинался с небольшого вертикального коридора. Далее открывалась сама комната. Довольно просторная. По углам я «расставил» грубо сколоченные стол, кресло, табуретки, сейф для оружия и полки для посуды. Другим мой расклад решительно понравился.

Мебель мы решили носить по частям, предварительно разобрав все на детали. Это тоже было частью общего замысла. Все-таки со стороны может показаться странным, если кто-то потащит в огород, скажем, раскладной диван. Или книжный шкаф.

Собирать планировалось уже внутри. Так что все было продумано до мелочей.

Первый день мы провозились на огороде около часа и свернулись. Важно было не вызвать подозрений. Тщательно замаскировав вход лопухами, мы разошлись, весьма довольные друг другом. Жизнь приобрела дополнительный смысл.

На второй день сценарий повторился.

Отец понаблюдал за нами из малинника, выкурил папироску, потоптался еще чуток и, пожав плечами, ушел.

Мы углубились еще на полметра. Получился вполне приличный коридорчик. Практичный и удобный. Мы легко помещались в нем вдвоем с Витькой. Коротык влезал уже впритирку.

Со входом разобрались. Здесь будет висеть веревочная лестница, по которой мы будем спускаться вниз.

На третий день, когда мы уже пыхтели над потолком своего штаба, показались девчонки. Сестры. Ултуар и Ултуган.

У них в семье были одни девочки. Целых восемь штук. Поэтому этих двух так и называли. С намеком и надеждой.

Мы ведь – казахи. Планировать не умеем и во всем полагаемся на случай. И обижаемся на случай. И списываем все – на случай. Поэтому отец семейства, вконец утомившись от «праведных трудов», решил больше не полагаться на авось – и послал богу восточку. То есть в буквальном смысле: назвал очередную дочь – Ултуар. Что в переводе означает: «После этой дочки у меня родится мальчик». Телеграмма почему-то не дошла до адресата. А может, бог просто не принял ее к сведению и снова послал дочь.

Эту он назвал еще громче – Ултуган. Что, соответственно, означает: «Зря вы так думаете, можете не сомневаться, мальчик фактически у меня уже родился».

На этот раз сработало. Бог проникся и намек понял. Через год родился пацан – и отец наконец успокоился.

И вот идут, значит, эти две красавицы по огороду в нашу сторону. Что они тут потеряли – неизвестно. Наверное, ишака искали. Отвязался.

Мы затаились.

Первой шла Ултуар. За ней, отставая на пару шагов, – Ултуган.

Солнце. Жара. Кузнечики.

Идут, ничего не подозревают. Болтают о чем-то. И тут из-под земли выскакиваем мы! Трое! С картофельной ботвой на головах.

– Ausweis! ! !

Думаю, если бы они были беременны, то разрешились бы прямо здесь. На грядках.

Ултуар подскочила без разгона метра на полтора. Крик ее услышали в другом краю поселка.

Ултуган рванула с места с пробуксовкой. На земле остался зиять глубокий след от ее толчковой ноги.

После такого впечатляющего триумфа мы продолжили свое дело с еще большим усердием.

Но!

Но.

Но...

На третий день случилось то, из-за чего пришлось все работы срочно прекратить. План, можно сказать, разбился вдребезги. Рухнул одномоментно. Превратился в руины. Полетел ко всем чертям.

Случилось это ночью

Мы проснулись от плача. Вернее, это был не плач, а скулеж. А может, и не скулеж вовсе, а стон. А если уж совсем точно, то и не стон даже, а трубный рев раненого самца муфлона на заре.

Короче, это был сборный букет из всей этой несусветной белиберды.

Все повскакивали. Прибежали на кухню. Включили свет.

Отец сидел прямо на полу. У печки. Измазюканный с ног до головы грязью. Макушку его украшала свежая пирамидка из глины.

На расспросы отец не отвечал. На просьбы не реагировал. Лишь забористо матерился и грозил кому-то кулаком.

Так продолжалось минут пять. Потом он наконец поднял голову, посмотрел на нас глазами мученика и замолк. Видно было, что он только что пережил нечто ужасное.

– Ну что?! Что случилось-то?! – взмолилась мама.

– Туалет... – прошептал отец.

– Чего? – отшатнулась мать.

– Ту-а-лет, – произнес по слогам отец.

– Ты хочешь в туалет? – участливо переспросила мать.

– Нет, – покачал головой отец. – Я там уже был. Я туда упал.

– Как?! – вконец перепугалась мать. – Ты упал в туалет?! Зачем?!

– Там... – показал слабой рукой в сторону огорода отец.

И все разом замолчали. Мама на всякий случай потянула носом воздух.

В наступившей тишине стало слышно, как бьется в окно ночная бабочка.

И тут вдруг отец театрально заломил руки и выдал, не соблюдая знаков препинания:

– Какие-то... (*ругательство*) выкопали... (*ругательство*) посреди нашего... (*ругательство*) огорода... (*ругательство*) туалет!.. (*Ругательство, ругательство, ругательство. ..*)

Ну, скажем сразу, на счет туалета отец, конечно, переборщил. Никакой это не туалет, как вы понимаете, а обыкновенный погреб (подвал, штаб, схрон)...

Но я не стал, как вы понимаете, влезать тут со своими уточнениями. Кому они нужны, эти уточнения?

Короче, дело было так.

В период полива, как это всегда и было, в нашем поселке начинаются перебои с водой. Люди записываются в очередь. За несколько дней вперед.

Наша очередь выпала в ночь. С двух до шести утра. За эти четыре часа отец намеревался полить все – и сад, и огород.

В оговоренный час он, как честный трудяга, закинул свою тятку на плечо и заступил в ночную смену. А надо сказать, что папаша у меня был человек заслуженный, немолодой. Фронтовик. Прага, Варшава, Берлин и все такое прочее.

Заступил он, значит, в ночь с твердым намерением не растягивать это удовольствие – и, как пишут в приключенческих детективах, растворился в темноте.

И вот...

...Журчит в арыке вода. Верещит в невидимой траве сверчок. Молодой месяц висит в небе. Машет себе тяткой мой папаша и прокладывает животворной влаге путь.

А в голове – тяжесть. Глаза слипаются. Спать хочется. Все-таки непростое это дело – корячиться в одиночку по темнякам. Кто пробовал, тот знает. А кто не знает, тому лучше и не пробовать.

И вот идет мой папка по борозде, прокладывает дорожку, не думает ни о чем плохом и вдруг при очередном взмахе неожиданно теряет под ногами почву и летит головой вниз. В наш погреб (подвал, штаб, схран).

– Вначале я даже ничего не понял, – сбивчиво рассказывал потом отец. – Куда-то я провалился... Даже тятку не успел выронить. Так с ней и ушел вниз. И – застрял!

Прошла, может быть, минута. Может, две.

Сон, естественно, как рукой... Отец резко взбодрился и попытался собрать в кучу мозг: что произошло? А когда понял, начал лихорадочно соображать, что делать. Как выбираться?

Кстати, вход имел правильную цилиндрическую форму. По задумке он и не мог быть другим. Вначале шел коридор, затем уже открывалась сама комната. Но до комнаты мы еще не добрались...

Ход мыслей отца был несколько иным.

Дело в том, что подобные ямы в деревнях копают только для известных целей.

– Я стал принохиваться, рассказывал отец. – Но, видимо, еще не успели... Только выкопали. Тогда я попытался встать на ноги...

Какой там! Не тут-то было. Яма узкая, не развернешься. И глубокая. Взрослого человека скрывает со шляпой. Ноги не согнешь и не подтянешь. В общем, застрял, как пробка в винной бутылке. Да еще и вниз головой.

Поначалу отец попытался использовать тятку. В качестве упора. Но пару раз соскользнул по намокшей ручке и больно ударился темечком о дно.

А вода все прибывает. Еще чуток – и захлебнешься.

– Она уже стала доходить мне доюдова! – страшно тарачил глаза отец, засовывая пальцы в ноздри.

Действительно. Жуть просто.

Я живо представил...

Ночь. Темно. Тишина. Журчит вода. И в этом ее мерном журчании слышится что-то шопеновское. А еще этот долбанный сверчок! Говорят, у каких-то африканцев он предвещает смерть...

И все спят. Сволочи! А ты тут один, посреди собственного огорода, среди лопухов, в свои шестьдесят восемь... Да еще и в идиотской позе... И шансов практически нет. И это после Праги! После Варшавы! Берлина! ..

Какой кошмар! Хрен его знает, что происходит на белом свете!

«Ну надо же, – думал отец, стоя на голове и теряя последние силы, – это все не вовремя и как это все нелепо».

– Потом я стал кричать! Звать на помощь, – продолжил отец.

Куда там;? Кто услышит?

– Тогда я стал рыть руками дно, чтобы вода не так быстро набиралась...

Слушая этот удивительный и полный драматизма рассказ, я невольно думал: все-таки геройский у меня отец. Там, где другой давно бы сломался, мой не сдался и цеплялся до последнего!

– Самый позор в чем... – качал испачканной головой отец. – Вот кинутся люди искать – и что? Торчат ноги из ямы с грязной водой! Утоп в собственном огороде. Полил, называется, картошку...

Наверное, эта глупая картина особенно задевала отца, и он, собрав волю в кулак, продолжил бороться за жизнь.

Помогла в итоге сама вода. Края ямы подмылись, и отцу с превеликим трудом удалось-таки изловчиться, подтянуть колени к животу и сползти вниз. Там уже, на дне, он отдышался, откашлялся и осторожно поднялся на ноги.

Так он и простоял в яме, шатаясь, минут двадцать, мой нестигаемый отец, как караульный сурикат. Весь в глине, грязи, ботве и со слезами радости на глазах. Он в очередной раз обманул смерть. Фуф! ..

А дальше вы уже знаете .

...Конечно, я промолчал. И Витьке с Кортыком ничего такого не стал объяснять. Просто сказал, что меняем дислокацию. Копать будем за селом. Ну и ладно. За селом так за селом.

Начали мы резво, но вскоре так же резво закончили. Потому что не было интереса. Кому нужен погреб (подвал, штаб, схрон) вдаль от жизни? За кем наблюдать и от кого прятаться? Кого пугать?

Неинтересно.

Так и осталась нереализованной секретная миссия славного капитана Тенкеша в пределах нашего кишлака.

А отец всю оставшуюся жизнь потом удивлялся:

– Интересно, и какому это недоумку пришла в голову бредовая идея выкопать туалет посреди чужого огорода?

Я поддакивал. Да, действительно, кому? Много дураков на свете. Чего зря заморачиваться?

Муссолини-пчеловод

И ростом он был невелик, и повадки у него были непростые, и фамилия у него была подходящая – Мусалиев. Поэтому люди прозвали его прямо и бесхитростно – Муссолини.

Человек он был беспокойный. Суетный. Увлекающийся. Но аккуратист. Ходил в хромовых сапогах. Офицерских. Чистил их и натирал сам. До блеска.

Выписывал кучу разных журналов. Среди них преобладали в основном научные и технические.

Первым делом – «Вокруг света», естественно. Потом – «Здоровье», «Крестьянка», «Работница» и почему-то «Юный натуралист»...

А еще он про охоту любил и рыбалку. Про путешествия.

Газеты читал. Все. Даже «Казправду».

Садился на свой стульчик в тенечке, обкладывался газетами и надевал очки с толстыми линзами. Отчего глаза его делались по-семитски выпуклыми и он становился похож на Дали. Правда, без усов.

Пока читал – вслух комментировал:

– Ты смотри, чё делается, а!

Качал головой.

– Расстрелять надо, – обращался он к кому-то. – И так уже десять лет лишних живет, сволыш.

Его побаивались. Ну, во всяком случае, остерегались. Потому что Муссолини был жутко напичкан всякой газетно-журнальной информацией и никогда за словом в карман не лез. Другой своих и сверстников-старичков вечно поучал. При этом частенько употреблял незнакомые слова и всякий раз вставлял их в самый неожиданный момент. И всегда у него это получалось складно и к месту.

Даже матерился он вычурно.

«Робеспьер твою мать!» – ругался он, делая ударение на «пьер-р-р».

И все безмолвно соглашались: да, так оно звучит убедительнее.

Идеи он рожал на ходу. Ругал всех за невежество и лень. За окостенелый деревенский быт. За инертность и силу привычки.

– Вот чего сидите? – набрасывался он на старичков, что грели свои кости на солнце. – Набились насваями и сидите. Заплевали все вокруг.

– А чего делать?

– Шевелить надо мозгом! – яростно тыкал себе в лоб Муссолини указательным пальцем. – А то как сидели пятьсот лет на одном месте,

так и просидите. А мир уже другой. Мир нас ждать не будет. Кругом прогресс!

Его плохо понимали. И тогда Муссолини затевал что-нибудь новенькое и на собственном примере пытался доказать, что мир и в самом деле изменился.

В прошлый четверг он ходил ругаться с директором совхоза. В контору. Ему не нравилось, что тот тоже «не шевелит мозгом» и роет арыки по старинке. Неправильно. Причем он ходил к нему не с пустыми руками, а со своими собственными чертежами. Согласно этим чертежам, арыки надо было рыть не вдоль улиц, а сразу подводить к огородам.

– И тогда был бы прогресс! А так ерунда получается...

Потом он ходил в школу и поругался с директором из-за того, что тот неправильно использует учебный трактор. Что дети все равно учатся ездить на нем всего один раз в неделю. Все остальное время он простаивает. И потом – не все дети вырастут трактористами. А вот если использовать этот трактор на нужды поселка, то была бы всем польза. Огороды те же вспахивать, к примеру.

– Мозгом не шевелите, балбесы...

Муссолини никто не слушал. Привыкли.

Тогда он плюнул на все – и решил придумать что-нибудь новое. Что-нибудь такое, сногшибательное. Конкретное. Аховое. Так, чтобы все поняли: вот он – прогресс! Вот оно – шевеление мозгом!

И он взялся... за пчел. За обыкновенных пчел. Медоносных.

В каком-то журнале ему попала на глаза статейка о выгодах этого хлопотного дела. И Муссолини загорелся.

У него зачесалась лопатка. А это – верный знак.

Так случалось всегда. Лопатка служила сигналом. Это как звонок из космоса.

Расклад был прост.

Пчелы – вот они. Цветов – полный огород. Надо только достать улей и медогонку с фильтрами – чтобы качать мед. Желательно из нержавеющей стали. Все остальное – по ходу.

Дело сулило явные барыши. Оно, можно сказать, само просилось в руки. Казалось, стоит взяться – и манна небесная сама посыплется горстями с неба и заполнит весь двор с палисадником в придачу...

Муссолини яростно поскреб пятерней знаковую лопатку, звучно крикнул в кулак и поперся к своим старикам-насвайщикам.

Те вроде как и не уходили никуда. Каждый сидел на своем месте, в той же позе, с той же маской на лице. Обсуждались последние новости. Их было не так много.

У Каркена отвязался бык и сломал ногу племяннику. Зоотехник украл машину картошки. Ночью у него во дворе разгружалась фура. Соседи видели, как они там всей семьей таскали картошку почти до утра в подвал мешками. Ну и ходят разговоры о том, что на следующий год к 9 Мая ветеранам поднимут пенсии. Дело уже решенное, вот только думают – на сколько...

Муссолини не стал сразу раскрывать карты, а лишь молча кивнул всем и пристроился с краешку.

Старики насторожились. Они знали: Муссолини просто так молчать не будет. Муссолини что-то задумал. И замолчали тоже. Они знали: Муссолини не выдержит.

Прошло минут пять. И Муссолини не утерпел.

– Вот возьмем нашего барана, – начал он и поднял по своему обыкновению палец к небу. – Скока с ним мороки? Кормить надо, поить надо, стричь надо, пасти, заготавливать на зиму сено... И это еще не все. Плодятся они в феврале, в самый мороз. Каждую овцу караулишь. Сараи утеплять, ягнят таскать, воду все время менять... Е-ех-х... Робеспьер-р т-твою!..

Муссолини обвел всех строгим взглядом. Старики молча слушали. Не перебивали.

– А пчела?! – почти выкрикнул вдруг Муссолини и изобразил пчелу.

Стариков от неожиданности передернуло, но оценили – похож.

– Пчела! – продолжил Муссолини. – Ей ничего не надо, она сама пасется. Стричь и поить ее тоже не нужно. Так?

Муссолини еще раз посмотрел на всех испытующе. Старики переглянулись и вроде как согласились: да, действительно, пчелу стричь не нужно. И поить. И пасется она сама.

– А зимой она спит, – привстал со своего места Муссолини и показал, как спит пчела. Тоже вполне убедительно: глаза прикрыты, крылья сложены на груди. Муссолини даже всхрипнул для убедительности.

Старики восхищенно переглянулись.

– А как только наступает весна – она полетела собирать мед. Сама!

Муссолини протер глаза, вытянул хилую шею и замахал крылышками: пчела полетела собирать мед.

Старики одобрительно закивали головами. Муссолини воодушевился.

– А вы знаете, сколько меда за сезон собирает в среднем рабочая пчела?

Старики пожали плечами. Они не знали, сколько меда за сезон собирает рабочая пчела. Они даже не знали, что пчелы делятся на рабочих и их начальников.

– Много! – не стал ударяться в детали Муссолини. – А теперь давайте посчитаем. Одна пчела в среднем за сезон собирает меда на двадцать пять рублей. А их там, этих пчел, в одном доме – миллион.

– Ну уж – «миллион», – подал наконец голос Оратай. Тоже фронтовик. Под Сталинградом ногу потерял. Он больше всех спорил с Муссолини. Не любил его.

– Ну хорошо, не миллион, – махнул рукой Муссолини. – Ну триста тысяч, т-твою робеспьер-р-р! Что? Мало? Это ж целая дивизия!

Старики снова переглянулись.

– Вот скоко у тебя баранов? – вцепился в Оратая Муссолини. – Восемнадцать. Маленький взвод. Так?

В ауле все знали, сколько у кого баранов.

– Ну и что? Тебе-то какое дело до моих баранов?

– Никакого мне нет дела до твоих баранов, как и до тебя самого, – хмыкнул Муссолини. – Я о другом говорю. Одно дело – восемнадцать,

а тут – триста тысяч!

– И что?

– И каждая несет в дом.

– Что несет?

– Мед, балбес! – торжествуя крутанул пальцем перед носом Оратай Муссолини. – Каждая пчела несет к себе в дом мед! На двадцать пять рублей за сезон.

– Эй, Муссолини, – подал голос Каркен.

Тоже воевал и тоже вместе выросли в одном селе.

– Где ты слышал, чтобы казахи пчел разводили? Не наше это дело.

– А кто тебе сказал, что казахам запрещено разводить пчел? – взвился Муссолини. И, чтобы добить всех окончательно, выбросил свою «небитку»: – Мир меняется. Все давно уже ушли вперед. Прогресс! А если мы так и будем сидеть со своим насваем, то нам ничего не останется. Так и будем глотать пыль за всеми. Понимать надо!

Тут уже никто не решился спорить. Все знали, что мир меняется, что все уже давно ушли вперед, но насвай еще не кончился. (И не дай Аллах, чтоб кончился. Если честно.)

– А вы знаете, что пчелами даже лечат? – вспомнил тут кстати кусочек из статьи Муссолини.

– Как это?

– Пчелиный укус полезен для здоровья.

Старики заулыбались.

– Чего лыбьтесь? – возмутился Муссолини. – Зубов уже половины нет, а все лыбьтесь. Не верите?

Старики не переставали улыбаться.

– Непроходимые вы люди! сплюнул зло Муссолини.

Но тут включился в беседу Кенжебек.

– Слушай, Муссолини, вот меня вон в прошлом году на сенокосе пчела в зад ужалила, и что-то я никакой пользы не почувствовал. Недельку старуха жопу мне маслом мазала. Сесть не мог. Лежа ел. И что?

– Так это же терапия! снова поднял палец Муссолини. – Она ж тебя всего один раз ужалила. И не туда, куда надо.

– А как ты ей объяснишь, куда надо жалить? – включился Оратай.

– Это надо курс пройти, – не обратил на него внимания Муссолини.

– Какой курс?

– Пчелиной терапии.

– А-а, ну-ну...

– Ой, балбесы, – вздохнул Муссолини. – Ну балбесы! Сидят тут-и ничего им не надо. А вы хоть знаете, что такое прополис?

Старики не знали.

А может, и знали, но не стали говорить. Промолчали. Ну его к черту, этого Муссолини. Прицепится – не отвяжешься...

– А вы знаете, что мать Гагарина – аргынка? – вставил вдруг ни с того ни с сего Муссолини.

Старики вытаращились.

Про матушку Гагарина Муссолини, конечно, загнул. И сильно, надо сказать, загнул. Но уж больно хотелось ему расковырять, расшевелить, растормошить эту дремучую публику. И когда ему в разговоре не хватало аргументов, он пользовался таким вот приемом: мог залепить какую-нибудь лабуду несусветную, а потом сам ходил удивлялся – откуда, мол, прилетело?

– Она найманка, – авторитетно возразил вдруг Оратай.

– С чего это – найманка? – включился Кенжебек. – Отец у нее жетысуйский. С Маловодного. Значит, она капалка.

– Кто тебе сказал, что она... – начал было Оратай, но тут Каркен свернул затеваемую дискуссию.

– Ладно! – гаркнул он и вытащил из-за губы насвай. Скатал его в катышек и швырнул подальше в кусты. – Чего ты хочешь?

– Надо разводить пчел, – твердо произнес Муссолини. – Всем колхозом.

Старики замялись. Было видно, что никто особо не горел желанием братья за пчел.

– Разбогатеет, – выкинул еще один козырь Муссолини.

С минуту длилась пауза.

– Давай так, – предложил Оратай, – ты пока богачей один. А мы потом поддержим. Если чё...

Муссолини окинул всех презрительным взглядом и кисло улыбнулся.

– Эх вы-й, насвайщики... Я так и знал. Так и знал. Но ничего, я вам докажу. Но будет уже поздно. И потом не говорите, что не говорил.

И пошел.

Спустя пару дней его видели в райцентре. На птичьем рынке. Он был деловит и сосредоточен. Из кармана его торчал справочник начинающего пчеловода.

Обратно он вернулся на грузовике. С большим баулом в руках. Какие-то сосредоточенные мужики помогли выгрузить небольшой игрушечный домик и уехали.

Жена, пугливая Кульжамал-апа, всплеснула руками.

– Ой-бай, это что?

– Что – «что»? – передразнил беззлобно Муссолини. – Не видишь, что ли?

– На собачью будку похоже.

– Сама ты, – скривился Муссолини, – будка. Это – улей, старая! Пчелиный дом.

Кудай сактасын! – удивилась Кульжамал – У пчел, что, бывают свои дома?

– А ты не знала? – язвил Муссолини. – Это дикие пчелы, как бродяги, живут где попало.

А домашние живут у себя дома.

Кульжамал еще больше удивилась.

– А что, пчелы бывают домашние и дикие?

– Да ну тебя, – отмахнулся Муссолини и стал не спеша выкладывать из мешка содержимое.

– А это что? – присела к нему поближе на корточки Кульжамал.

Она никогда не видела столь диковинных вещей: железки какие-то причудливой формы, зажимы всякие, решетки...

– Это дымовушка, чтобы дым делать, – авторитетно принялся объяснять Муссолини. – А это – поилка. Их поить надо. Раз в день. А это – рамки сотовые. А это – маска.

И Муссолини надел на голову массивную штурмовку, похожую на рыцарский шлем.

– Ма-а-а, – перепугалась Кульжамал. – Ты что – на войну собрался?

– Какая еще война? – хмыкнул Муссолини. – Так надо. Пчелы – это тебе не бараны. Тут – наука. Бизнес будем делать.

– Чего будем делать? – не поняла Кульжамал.

– Разбогатеет, говорю.

– А-а-а, ну хорошо, – прикусила губу Кульжамал и, вконец расстроенная, пошла в дом.

– Только это... – обернулась она на пороге, – ты этот свой пчелиный дом поставь куда-нибудь подальше. В огород.

– В огороде цветы не те, – ответил Муссолини. – Надо в саду установить. Там пыльца богаче.

– Какая еще пыльца? – не поняла снова Кульжамал.

– Ой, ладно, – махнул рукой Муссолини. – Ты иди лучше. Иди. Ставь свой самовар. Я щас...

Ивее.

С тех пор обычный поход в туалет стал серьезной проблемой для домашних.

Как назло, яро зацвела вишня. Буйный ее аромат сластил воздух. Чтобы пройти к сортиру, надо было непременно миновать эту злосчастную вишню.

Пчелы не пропускали. Они принимались свирепо гудеть и кружиться. Приходилось обходить дерево через соседский двор, всякий раз натягивая на себя извиняющуюся улыбку.

Соседи затевали спор: кто что ел в доме Муссолини и что пил. И в каком количестве. Обсуждали и строили предположения. Причем вслух и громко. И, надо полагать, с умыслом, чтобы эти беседы не оставались тайной только двух семей, а стали достоянием всей округи.

Хотя, по большому счету, в мерном течении поселковой жизни мало что изменилось. В ауле вообще не любят перемен. Вот клуб новый затеяли строить, а то старый совсем разваливается, – и так уже лет десять подряд. И асфальт пообещали в следующем году положить. Хотя его каждый год обещают положить.

А так – все по-прежнему. По старинке.

Лишь изредка небольшое оживление в аульное однообразие вносил Муссолини.

Время от времени можно было видеть, как он бежит по своему заросшему саду. В страшной маске и с дымовушкой в руках. За ним, как за подбитым мессером, тянулся неровный шлейф едкого дыма.

Мальчишки любили наблюдать. Смеялись. Ну чистое кино, ей-богу.

Обычно, растревожив пчел, Муссолини, стремительно маневрируя меж яблонь, с разгону прыгал в малинник. И там замирал. На какое-то мгновение устанавливалась тишина. Потом – короткий вскрик: «Оттвоймать!», и Муссолини, выпрыгнув из кустов, бежал в сторону загона. Там рядом был погреб. Он нырял туда и отсиживался. В прохладе.

К вечеру все садились пить чай за старенький дастархан.

Пили молча. В воздухе висело невидимое напряжение.

Кульжамал боялась смотреть на мужа. Муссолини всякий раз выглядел по-новому. То он походил на Мао Цзэдуна, то на Фантомаса, то на одного жизнерадостного певца, который утверждал, что олени лучше, чем вертолет. А однажды он стал похож на самого Муссолини...

– Матку надо поменять, – обронил он однажды, когда они с Кульжамал уже легли спать.

– А чем тебе эта не угодила?

Кульжамал тоже проштудировала внимательно справочник пчеловода и о некоторых моментах эксперимента с пчелиным прогрессом имела собственное мнение. Но самое главное, она хорошо знала, что матка стоит денег. А пенсия – через месяц. Да и надоело уже покупать всякую ерунду из-за этих бесполезных пчел.

– Надо, и все, – не стал разводить полемику Муссолини и отвернулся к стенке.

Кульжамал подождала чуток, собираясь с мыслями, и завела свое:

– Вот объясни мне, неразумной, разве может какая-то насекомая стоять целого барана?

– Она может стоять как лошадь, – пробухтел Муссолини, не оборачиваясь. – Если ценная.

– Это спекулянты придумали, – не унималась Кульжамал. – Они знают, что на свете живут разные дураки, вот и пользуются.

Муссолини помолчал. Потом выдвинул свой аргумент:

– Выходит, все те, кто делает мед и считает барыши, – дураки?

– Чего-то я не вижу никаких барышей, – усмехнулась Кульжамал. – Ходишь вон, детей пугаешь. Смотреть страшно. Как будто лошадь в лицо копытом ударила. Люди перестали узнавать.

– Это временные трудности, – ответил Муссолини. – У всех так поначалу. Надо перетерпеть.

Кульжамал хмыкнула снова:

– Ну терпи, терпи. А мне лично надоело.

– А что тебе надоело? Не ты же с ними возишься, – повернулся наконец Муссолини к жене. – Пчелы, они как люди. Им нужно привыкнуть к новому месту. Это ж русские пчелы. Я их у одного пасечника купил. Он из Брянска приехал.

– Боже мой! – всплеснула руками Кульжамал. – Теперь у него пчелы русские. И что, ты теперь собираешься из них казахских пчел делать?

– А я чем, по-твоему, занимаюсь? Это ж целый процесс! Неоднозначный.

– Ну надо же! – отвернулась Кульжамал, кутаясь в одеяло. – Тогда тебе придется из них сразу каналов делать. А то они начнут собирать тебе мед по-аргынски, и никто его здесь у тебя не купит.

На этом разговор свернулся, и старики вскоре захрапели.

Снилось Муссолини, будто он упал в громадную бочку с медом и там барахтается. И не может вылезти. А над ним кружатся пчелы и строят ему противные рожи. Одна из них сильно смахивает на Оратай. А Кульжамал черпает мед ведрами и хихикает, хихикает...

– Аргыны! – кричит. – Это аргыны тебе весь мед испортили!

Муссолини тянет к ней руки: помоги, мол, – а она словно не замечает, дура. Только и знает, что мед черпать ведрами, крохоборка чертова. А его все засасывает, засасывает вниз, и он потихонечку тонет.

Кошмар, одним словом.

Наутро Муссолини сразу же после чая направился к насвайщикам и затеял лекцию о разновидностях пчелиных маток.

– Вот возьмем, к примеру, матку, – начал он, устремив палец к небу. – Матка у них, считайте, заместо директора совхоза. Только она не такая, как наш идиот, который даже арыки не может по уму прорыть. Она -правильная. Она за всех болеет и переживает. Потому как она всем им -мать. Понятно?

Старики вникали.

Муссолини продолжил:

– Вот сейчас август, и у них скоро начнется свадьба. В природе же все строго по расписанию: когда спать, когда есть, когда детей заводить. Это у людей все как попало.

– Что он говорит? – не расслышал Оратай. – Что у них начнется?

– Свадьбы у них в августе, – подсказал кто-то.

– Вот, правильно, – кивнул Муссолини и не спеша продолжил: – После свадьбы матка рождает пчелят. То есть – яйца. Помногу. Как иса-бековская жена.

У скотника Исабека было тринадцать детей, и жена его снова ходила беременная.

– Хорошие детки становятся рабочими пчелами. Трудягами. А плохие становятся насвайщиками.

– Чего-то ты тут опять компостируешь, – вставил Оратай, которому не понравилось обидное сравнение.

– Ничего я не компостирую, – повернулся к нему с достоинством Муссолини. – Так и называются – трутни. Они не работают, а только сидят вот так вот, сосут свой насвай и жрут все, что им приносят рабочие пчелы. У них вообще все как у людей.

– Ну-ну. И что потом?

– Потом, когда наступает пора заводить новых детей, матка выходит из дому.

– Одевается, наверно? Губы красит? – попытался поддеть Оратай.

– Не смешно, – парировал Муссолини.

– Зачем? – подал голос Каркен.

– Что – «зачем»?

Зачем она из дому выходит?

– А затем, – ответил степенно Муссолини, – чтобы остальные пчелы-айгыры устроили кыз-куу.

– Чего-чего? – скривился Оратай.

– Чего они устраивают?

– Байгу, говорит, они устраивают! ..

– Ха! Пчелы-айгыры устраивают кыз-куу! Ха! – заржал Оратай. – А кокпар они не устраивают? Может, они потом всю округу на той зовут?

– Какая еще байга? – не поддавался на провокации Муссолини, снисходительно барабанил пальцами себя по колену. – Это же я вам на вашем языке объясняю, охламоны. Упрощаю, так сказать. Вы ж не поймете по-научному.

– Ну-ну, и что потом? Кыз-куу пчелы устраивают, потом...

– Потом, значит, – терпеливо пояснял Муссолини, – выходит матка из дому, покривляется на пороге, а потом летит прямо туда! Вверх!

Тут Муссолини резко вскинул свой палец кверху, словно хотел проткнуть им небо.

И все посмотрели вверх. Туда, куда указывал Муссолини. Вернее, туда, куда якобы полетела пчела-матка.

– И за ней тут же погнались все остальные...

– Кто погнался?

– Пчелы-айгары! – рубанул ладонью воздух Муссолини и показал пчел-ухажеров, которые погнались за маткой. – И вот они летят за ней, летят и по одному начинают падать. Отставать.

– Что это за мужики, которые с коней падают? – скривился Оратай.

– Балбес! – махнул на него Муссолини. – С каких еще коней? Это ж пчелы. Они летят за маткой. А матка в два раза больше и сильнее любой другой пчелы. И чтобы ее догнать, нужно быть настоящим джигитом, а не таким, как ты, трухлявым пнем! Понял?

– Кто тут пень?! – возмутился было Оратай, но на него зашикали. Заткнули. Всем было интересно, что там по сюжету дальше: догонят пчелы-айгары или не догонят эту вертлявую пчелу-матку.

– И что?

– Что потом?

– Ну-и?..

– И вот кто ее догонит, тому она и даст, – закончил без подробностей Муссолини.

– А если их много?

– Кого?

– Ну тех, кто там ее догонит?

– Всем даст, – ответил Муссолини без сомнений. – Никого не обидит.

– О, щещен! – выдохнул Каркен.

– А ты думал! – подытожил Муссолини и выпятил нижнюю губу. – Я ж вам говорю, тут не все так просто. Тут – наука. Это тебе не баранов пасти. Вот смотрите, тут один академик пишет...

Муссолини вытащил из кармана затасканный уже порядком справочник пчеловода. Раскрыл на нужной странице и стал вслух, с выражением, читать:

– «Общение с пчелами вызывает массу радостных эмоций, обогащает духовно и облагораживает. Иметь пчел и ухаживать за ними – величайшее наслаждение. Для того чтобы с успехом вести пчеловодство, нужны внимание, аккуратность, догадливость, сметливость, а этими качествами обуславливается и трезвость...»

Тут он со значением оглядел стариков:

– Трезвость! Понимаете? И далее: «Существует мудрая поговорка: «У дурных людей пчелы не ведутся». И это – правда. Всегда надо помнить, что пчела – твой друг и партнер. Вы работаете вместе...»

– Вот! – закончил Муссолини и выпятил грудь. – У дурных людей пчелы не ведутся. Некоторым тут вообще не стоит этим заниматься.

– Ну-ну, пчеловод хренов, – отозвался Оратай. – И где же твой мед?

– Скоро уже, – запихнул справочник обратно Муссолини. – Скоро. Просто я жду, когда у них свадьба пройдет, а потом уже доить начну. Качать то есть. А вы тут можете сидеть дальше и мусолить свой насвай.

Неизвестно, чем бы закончился разговор, но тут прибежал соседский пацан Ергазы. Он был так взволнован и так напуган, что позабыл настоящее имя Муссолини.

– Муссолини-ата! – закричал он. – Муссолини-ата! Там ваши пчелы залетели в наш сеновал и не уходят!

Все тут же повскакивали и поспешили на место происшествия.

А там уже – полный аншлаг. Всем было интересно. Пчелиный рой клубился под крышей соседского сарая. Люди держались на почтительном расстоянии и не знали, что делать. Ждали Муссолини.

– Вот, – с ходу заявил он, – видите?

– Что?

– Я ж говорил! Пчелиная матка вышла из дому, и сейчас она должна полететь вверх.

– Зачем? – спросил кто-то.

– У них сейчас начнется кыз-куу, – ответил Каркен.

– Что у них начнется? – не расслышали в толпе.

– Какой еще «кыз-куу»?

– За кем погонятся?

– Кого украли?

– Матку украли! – осклабился Оратай. – Свадьба у них. Пчелиный той.

– У кого свадьба? Кто женился? – раздались голоса.

Короче, толпа шумела. Никто ничего не понимал.

– Ты... это... – обратился сосед к Муссолини, – ты бы не мог эту свою свадьбу поскорее убрать, а то покусает детей ненароком.

– Щас, – сказал Муссолини и пошел за лестницей.

По пути захватил дымовушку и маску. Развел тут же, во дворе, огонь, заправил дымарь, надел на голову маску и приставил лестницу к крыше. Все это он проделал степенно, без суеты. Он понимал: теперь все зависит от него.

– Вы бы отошли чуток, – обратился он ко всем из-под маски. – А то, не дай бог...

Все мигом отступили.

Муссолини полез наверх.

Люди затаили дыхание.

Пчелы, почуяв чужака, тревожно ошетились и грозно зажужжали. Толпа внизу инстинктивно отшатнулась и отступила еще на пару шагов. Но любопытство побеждало.

– Спокойно, – поднял руку Муссолини и приблизился вплотную к темнеющему рою. – Надо матку тут найти, и все. Возьму ее и отнесу обратно в улей. Они успокоятся и полетят за ней.

– А как ты там ее найдешь? – крикнул издали сосед. – Они же все одинаковые.

– Не одинаковые, – прошептал уже себе Муссолини и стал осторожно окуривать пчел дымом.

– Во дает! – донеслось из толпы.

– Наука!.. – удивился кто-то.

– Ты смотри, а! – качнул головой Каркен.

– Сейчас поглядим, кто кого, – усмехнулся Оратай.

По идее, от дыма пчелы должны были опьянеть, расслабиться и потерять бдительность. Так было написано в справочнике. Но пчелы почему-то не пьянели.

– Может, наддашь? – подсказал кто-то снизу.

Муссолини наддал. И вскоре исчез в дыму вместе со всем своим роем.

Люди в толпе закашлялись.

– Эй, Муссолини! – закричал сосед сдавленным голосом. – Там в углу сено. Прошлогоднее. Чиркнешь – и кранты.

Муссолини перестал дымить и спустился вниз. Отдышаться.

Снял маску. Лицо его почернело, и теперь он стал похож на предводителя движения рабов против засилья белых эксплуататоров.

– Они сейчас возбуждены, – заявил он, размазывая копоть по лицу. – Брачный сезон. Сами понимаете. На дым не реагируют.

– А может, тогда водичкой? – предложил кто-то.

– Точно! – воскликнул сосед. – Надо полить их водой, тогда крылья у них намокнут и они все попадают. И там ты уже найдешь свою матку.

– Разве можно их водой? – усомнился Каркен.

– Конечно! – встрял Оратай. – Вон бабочка: намокнет под дождем – и летать уже не может. Валяется. И все они так. Они ж все, по сути, мухи. Просто полосатые.

Муссолини почесал взмокший затылок. Идея ему не очень нравилась, но в ней что-то было. Поливать пчел водой он еще не пробовал, но по законам физики вроде как все сходилось. От воды крылья тяжелеют, и в дождь мухи действительно не летают.

Сбегали за водой. Муссолини надел снова свою маску и полез с полным ведром к пчелам.

Приблизившись к улью вплотную, он остановился, как матадор перед быком, и изготовился. Все снова затаили дыхание. Муссолини подождал чутки и, размахнувшись, жажнул ведро воды в самую гущу.

Затем произошло вот что.

Рой черной тучей взметнулся под самую крышу и завис. Погудел там секунду-другую, выискивая, надо полагать, врага, и со страшным воем бросился на странный силуэт с ведром.

Муссолини заорал так, что толпа, стоявшая внизу, разом кинулась врассыпную. И вроде как рванули в разные стороны, но почему-то все смешались в кучу и попадали друг на друга. Все: бабы, мужики, дети... Крик, ор, мат...

Муссолини забыл про лестницу и, как заправский каскадер, лихо сиганул с четырехметровой высоты вниз. Приземлился на спину соседу, и они вдвоем покатались по земле.

Сосед сориентировался первым и шмыгнул в сарай.

Муссолини побежал в огород, геройски унося пчелиное облако за собой. Кукуруза вмиг проглотила его с головой. Откуда-то из самых краев огорода донеслось удаляющееся:

– Робеспьер-р-р!...

...Через пару дней Муссолини выписали из больницы и он снова сидел в кругу насвайщиков.

Помалкивал.

Седые джигиты рассуждали о преимуществах социализма перед лицом надвигающегося коммунизма.

Муссолини вяло слушал, гоня травинкой муравьев, а потом, когда наступила пауза, задумчиво так произнес:

– Вот возьмем, к примеру, лошадь. Или даже корову...

Все разом повернулись к нему.

– Может, не возьмем? – попытался слабо возразить Каркен.

– Нет, мы возьмем, – поднажал Муссолини, и все, тяжело вздохнув, приумолкли.

– Вот сколько корова приносит телят? – принялся рассуждать Муссолини – и сам же себе ответил: – Одного. Ну двух от силы. Так?

Насвайщики покорно молчали. Они знали: лучше не встречать.

– Лошадь – то же самое. В год одного жеребенка. Это еще максимум.

Пауза.

– А свинья? – выдал наконец Муссолини и обвел всех характерным своим взглядом.

– Что – свинья? – устало отозвался Оратай.

– Она за раз может метнуть с десятков!

– Э-эй, айналайын, – как можно мягче возразил Каркен. – Где ты видел, чтобы казахи разводили свиней?

– Ой, да робеспьер-р т-твою мать, – выругался тепло Муссолини. – Мир ведь не стоит на месте. Прогресс. Все меняется, все движется. Надо же шевелить мозгом. А вы тут все сидите со своим насваем...

Когда Муссолини умер, хоронили всем селом.

Директор совхоза толкнул трогательную речь. Директор школы заплакал. И соседи заплакали. И даже Оратай заплакал. Он оставался последним из той компании насвайщиков.

А потом, когда раздавали по обычаю вещи, кому-то костюм Муссолини достался, кому-то пальто, кому-то маска, а кому-то дымарь...

А вот улей никому не понадобился. Он так и остался стоять в самом дальнем углу сада. Возле старой вишни.

Со временем пчелиный домик осел и скосился набок. Трава обступила его со всех сторон, и он стал походить на хижину, которую оставили гномы.

Смешной такой игрушечный домик. Старый. Потрескавшийся. Пустой...

Самоубивец

Кто хоть раз резал себе вены или стоял на краю высотки, кто глотал пачками таблетки или включал газовые конфорки... Короче, кто балансировал на грани, тот меня поймет.

Кого-то спас врач, кого-то сосед, кого-то друг, кого-то просто прохожий.

А меня вот спас Маугли...

Но лучше обо всем по порядку.

Баба Валя – белый колдун – говорила мне, что малодушие свойственно душам порывистым и импульсивным. А еще она говорила, что самоубийство – это грех и человек не имеет права прерывать собственную жизнь. Это – удел господ. Он дал, он и заберет обратно. Таково правило. А тех, кто сам наложил на себя руки, там, наверху, не любят. Потому что они нарушают установленный порядок: у каждого ведь свой черед. Кто нарушает очередность, тому нет божеского благословения. И томятся души внеочередников в приемной у господ, и ждут – что там с ними решат. Ясно одно: хорошего не жди. Отправят к чертям собачьим на сковородку – и жарься там в собственном соку...

Но в тот день я об этом не думал. Меня жгла обида.

Корова наша, дура, забралась в огород и обожралась клевера. Кто-то, видимо, забыл закрыть калитку в саду, вот она и забрела. Когда я пришел со школы, она уже лежала посреди картофельных рядов, широко растопырив ноги. Живот ее странно вздулся. Она таращила глаза и задыхалась.

Мать накинулась на меня с прутиком и больно отхлестала по ногам. Я даже не сразу сообразил – за что?

– Вот я тебе! – пригрозила она, когда я метнулся по лестнице, приставленной к сараю, на крышу.

И ушла. В огород. Там она принялась ходить кругами у раздувшейся коровы, плакать, причитать и гладить ее по бокам. Понятно было, что дела плохи. И Мусабек – сосед (его позвали уже) – сидел рядом на корточках и точил о брусок свой нож.

Он был мастером этого малоприятного дела. Его обычно звали на свадьбы или похороны. Мусабек резал скот быстро и умело. Его за это уважали. Лично я его за это дьявольское умение втайне ненавидел. Если он где-либо появлялся, значит, ясно: прольется кровь.

Смотреть дальше на весь этот кошмар мне больше не хотелось, и я ужом соскользнул по лестнице вниз. Там нашел в сарае смотанный аркан и поплелся в сторону лощины. Было у нас в ауле такое жутковатое место: глубокий овраг, утопавший в густом бурьяне и зарослях колючей ежевики.



*Ермек Турсунов с мамой Куляй Жанузаковой у Дворца им. Ленина.
Алма-Ата. 1971 год*

Слезы душили меня. Я вытирал их тыльной стороной руки и шел навстречу судьбе. Я твердо решил: дальше жить незачем. Нет в жизни справедливости. Нет, не было и не будет. И в школе ни за что кол поставили, хотя я урок выучил. Просто от волнения забыл. А волновался я, потому что Раушанка не ответила мне на записку, в которой я предлагал ей покататься на велосипеде. Она уже на третью мою записку не ответила, и это означало только одно: я ей

неинтересен. Да и никому я не интересен. Вон даже домашним... А значит – в чем смысл продолжать всю эту бодягу? Вот повешусь – и узнают тогда. И поймут – какой я был золотой. И всем станет меня жалко. И стыдно. Стыдно за свое бессердечие и слепоту. И захочется меня любить, а меня уже нету...

Была среда. Два часа пополудни. Самое время свести счеты с жизнью.

За логом толпились нестройной компанией сливы. И дикая вишня. И урюк.

Я выбрал самое подходящее дерево – в том смысле, что на него легко было забраться: раскидистое такое, ветвистое. Не спеша залез на веточку потолще. Расположился там поудобнее и стал разматывать аркан. Сделал кое-как петлю, другой конец крепко привязал к ветви, на которой сидел. И в последний раз глянул на этот черствый мир.

Вокруг, докуда глаз хватало, ликовала и радовалась себе жизнь. Родной аул притулился у самых гор. Снежные вершины подпирали небесный купол. Вдали, на картофельных полях, словно маленькие жуки, копошились трактора. Стрекотали в траве невидимые кузнечики. В небе – ни облачка. Бездонная лазурь. Лишь крохотной точкой застыл жаворонок, и беззаботная трель его заполняла всю эту невыносимую до боли картину...

И так мне стало жаль себя. Так обидно. И оттого, что я уже решил, и что теперь уже ничего не изменить, и что вся эта красота будет жить сама по себе, мне становилось еще жальчее и еще обиднее. И, понимая безысходность, хлюпая носом, я стал затягивать на хилой своей шее петлю. И тут вдруг откуда-то снизу:

– Чё, вешаешься?

Это был Алдаберген. Он учился в четвертом, на класс старше меня. Видимо, давно тут стоял и наблюдал – чего я тут собираюсь делать. И, видимо, сообразил. А потому фразу свою произнес нарочито буднично, словно спросил – почему картошка? И что вовсе сбивало пафос сцены, так это то, что он ел яблоко. Хрумкал его безжалостно и смотрел на меня чуть запрокинув голову и шурясь на солнце.

Я от неожиданности чуть не сорвался вниз, рывком смахнул петлю и поспешил спрятать ее за спиной. Мне почему-то казалось, что вешаться при свидетелях как-то неприлично.

– Зря, – ответил сам себе Алдаберген, продолжая трескать яблоко.

И замолчал. Прошла, может быть, минута. Пауза несколько затягивалась. Я по-прежнему испытывал некоторую неловкость. Словно меня застучали за чем-то нехорошим или поймали за руку на мелком воровстве. Да и веревка, мерзкая, никак не сматывалась. Я боролся с ней, пытаясь куда-нибудь запрятать. А некуда было. И пока я так копался с неподатливыми ее концами, Алдаберген покончил с яблоком, зашвырнул огрызок подальше в овраг, глянул на меня ясными глазами и четко так, по слогам, произнес:

«Дурак! Сегодня же «Маугли»! Последняя серия.

Точно! Блин. И как я мог забыть? Весь поселок вымирал, когда показывали мультфильм про пацана, который родился в джунглях среди волков и медведей, – как он рос и стал сильным, как великий Каа подарил ему кинжал и как он заманил диких псов в пчелиную ловушку; и вот в четвертой серии Акела промахнулся – и теперь Шерхан, мерзавец, хочет все испортить, и оставалась последняя битва, на которой должно было все решиться...

– Во сколько? – спросил я тоже как можно небрежнее.

– В семь, – опустил голову Алдаберген. Шея затекла. – Так что давай слезай. Посмотрим «Маугли», а потом придем сюда снова. И повесишься.

– Ну ладно, – согласился я нехотя.

– А веревку оставь, – разумно посоветовал Алдаберген. – Чё ее туда-сюда таскать? Замотай там, никто не тронет.

Я так и сделал. Не стал отвязывать аркан, лишь обмотал им ветку, а конец с петлей спрятал в листве.

В семь вечера мы уткнулись в телевизор и досмотрели «Маугли». Шерхан, как и напрашивалось с самого начала, сдох, и Маугли сделал из него себе плед. Акела остался вожаком стаи. А Балу с Багирой простились с Маугли, и тот ушел к людям. Словом, каждому досталось по кусочку счастья. И мне срочно расхотелось вешаться.

В тот вечер я нарочно засиделся у Алдабергена допоздна и вернулся домой лишь к ночи. Мама не стала ругаться, а наоборот – засутилась, расцеловала и приготовила мне любимые оладушки. И сказала, что, оказывается, шпагатик, на котором держалась дверца в огород, поистерся и потому калитка отворилась сама. И что она об этом не подумала. И что ей корову было так жалко, что она даже заплакала и в горе своем ничего не заметила...

И все вернулось на круги своя.

Я писал записки Раушан, она не отвечала. Тогда я передавал ей через соседского пацана шоколадки – и один раз все-таки прокатил ее на велосипеде. А потом школа неожиданно закончилась. И все закончилось. И началась другая жизнь. Совсем другая.

...Лет через пятьсот выдалась небольшая передышка, и я поехал к своим, в аул. Вылез на трассе – попутка довезла. А оттуда до поселка еще километра два. Решил пройтись, ноги размять, а то засиделся. Пошел напрямки. Через лощину.

А лог-то уже не тот. Не осталось в нем бывшего очарования. Не осталось того таинства и мистики. Скот аульный объел все кушары. Сливы с вишнями повырубил давно. Кругом все голо и сиро. Лишь торчат тщедушные, высохшие от времени урючины и на их скрюченных макушках качаются сварливые галки.

И тут мой взгляд случайно зацепился за одну из ветвей. На ней болтались сгнившие обрывки веревки с пугающей петлей на конце...

Спасибо, Маугли. Если б не ты...

О любви

Ну, что любовь? Что-любовь? Какая она-любовь?

Любовь, она, знаете ли, разная.

Вот Витька, например, любил Светку. Дьяченко. Из десятого «Б». Она была красивой, и они целовались. Два раза в неделю. В понедельник и пятницу.

Почему – в понедельник?

Потому что в понедельник Светкина мама отправлялась в ночное на ферме и Витек специально засиживался у них допоздна. Пока мама не уйдет. А в пятницу Витькин отец – дядь Володя Шнайдер – разрешал мотоцикл и Витька катал Светку за поселком по холмам.

А Пипош, то есть Байгали (просто все его с детства называли Пипош и мало кто помнил его настоящее имя), любил своего ишака Яшку. И голубей.

Яшку он любил за то, что Яшка был самым сильным ишаком в округе и умел курить. Это мы его научили.

В какой-то газете писали, что где-то в Аргентине есть осел, который не работает, пока не покурит. А Яшка мог и работать, и курить. Одновременно. Бывало, тащит телегу с дровами или сеном и дымит сигаретой. И нормально. Все привыкли. Иной раз кто-то даже останавливал, чтобы прикурить.

Что касается голубей, то самая большая голубятня в поселке была у Пипоша. И он этим гордился. Подолгу сидел с ними на крыше. Гулигулил.

Зря говорят, что в деревне скучно жить. Ничего подобного: каждый раз что-нибудь да и происходило.

Вот, помню, как-то...

Землетрясение. Тряхнуло. Прилично так. Да еще посреди ночи.

Мужики и бабы как были в исподнем, так и повыскакивали на улицу с криками. Бросились к сараям, выгнали всю живность.

Скот тоже взбесился: петухи стали орать, собаки взвыли, коты... Даже бараны – и те в один голос, как чумовые. Короче, поднялся такой шум, такой невообразимый переполох, что все вспомнили про конец света.

Им пугал всех местных безбожников аульный мулла Сатыбалды. Он носился верхом на взмыленной лошади, страшно пучил глаза и указывал вверх камчой.

– Аллах! – хрипел он. – Аллах все видит!.. Покарает!.. Вот увидите! Резать черного барана!.. Парторг – сволочь! Его зажарят первым!

На него никто особо внимания не обращал.

Вскоре мужики, кто в кальсонах, а кто и в фуфайках навывпуск, стали потихоньку кучковаться. Кто-то уже «сходил». Послышался приглушенный стук стаканов – «За жизнь!».

Бабы спохватились. Перестали охать-ахать. Огляделись. Попытались растащить своих по домам, но те резонно предупредили, что ждут вторую волну.

Тогда они согнали скотину в кучу и собрали малых детей. Выстроились вдоль заборов и принялись расчесывать свои страхи. Кто куда побежал да кто за что схватился, кто в какую форточку полез...

Смеялись.

Коровы тарасились в ночь. Овцы успокоились, улеглись и стали мусолить свою жвачку. Но в дома никто заходить не стал.

Сон весь вышел. Так до утра и проволындались.

Но что-то я отвлекся. Мы же о любви вроде начали?

Так вот...

Пипош любил голубей. Наверное, он их все-таки любил больше, чем Яшку. Иногда устраивал представления.

Залезет на крышу и ждет, когда кто-нибудь шуганет своих. И как только взлетит где какая стайка, тут же поднимает своих. И никогда его красноглазый дутыш по кличке Архимед не возвращался пустым. Непременно сманивал чужую.



Выездной педсовет. Учителя восьмилетней школы поселка Первомайский на пикнике. Ермек Турсунов – на заднем плане с мячом. 1966 год

Затем вся эта пипошевская пернатая банда возвращалась обратно, с шумом-треском рассаживалась в ряд на крыше, и Архимед тут же начинал окучивать свою новую подружку. Грудь колесом, хвост враспырку, и чего-то он там ей гундит на своем, на голубином.

Пипош тихо радовался. Но марку держал. Спектакль только начинался. Он ждал. Потому что следом всегда появлялся хозяин в расстроенных чувствах. Просил вернуть голубку. А Пипош вздыхал: мол, что тут поделаешь? Любовь!

И начинался торг. Сходились обычно на десятке, и Пипош лез в голубятню, созывал сизарей и возвращал легковурную хозяину. Так что любовь голубиная стояла по тем временам червонец. Не больше.

Отец не одобрял. Но и не ругал особенно.

– Лучше бы кроликов разводил, сынок, – говорил он с легким укором. – Или индюков. Все больше пользы было бы. А чё толку с этих голубей?

Дядь Володя Шнайдер любил свой мотоцикл. «Урал». С люлькой.

У дядь Володи вообще были руки золотые. Однажды он даже приделал к мотоциклу задний ход. В смысле – заднюю передачу. А потом кто-то из заграничной родни подарил им старенький «Фольксваген», и дядь Володя всю свою любовь перенес на машину.

В нашем поселке иномарки в те годы были в диковинку. Все «Жигули» да «Москвичи». А тут – такая! Вся улица сбежалась посмотреть.

Правда, ездили на ней мало. Дядь Володя берег. Выкатывал раз в неделю из гаража и мыл. Шампунем. Иногда и нам позволял. Потом мы садились на скамейку, распахивали дверцы, чтоб сохла быстрее, а из салона по радио: «Ах, Самара-га-а-арадок, беспяко-о-ойная я-а-а, беспяко-о-ойная я-а-а, успа-а-ако-о-ой ты меня...»

Красота!

А однажды Витькину сестру Агнетку отвезли на каникулы в город. К тетке.

Агнетка насмотрелась в городе всякого, запомнила такси. По возвращении нарисовала половой краской шашечки на машине. По круговой. Для красоты. Дома как раз никого не было. Решила обрадовать.

Не сказать, чтобы дядь Володя сильно обрадовался...

Пил дня три. Потом позвал Пал Палыча – учителя химии.

Кто-то подсказал, что проблему можно решить химическим путем.

Пал Палыч пришел не один. Притащил с собой сумку. А там – целый арсенал. Ну как же! Наука. Банки там всякие, склянки, пробирки, растворы, примус... Много чего.

Дядь Володя глянул на всю эту артиллерию, выкурил папиросу, крикнул, и сосредоточенные мужики закрылись в гараже.

Вначале было тихо. Из гаража доносились лишь звуки работающего примуса и кипящей жидкости. Минут через десять по двору неслышно поплыл удушливый запах ацетона вперемешку с чем-то нехорошим. Пару раз кашлянул дядь Володя. Послышался его слегка сдавленный голос:

– А может, гидроклориду?

На что последовал ответ:

– Спокойно, Маша, я – Дубровский. Вот сейчас мы газолинчика добавим...

На запах вышла тетя Клара – жена дядь Володи. С ней – ее сестра

Гретхен, пару дней назад приехавшая из Павлодара.

– Эй! – позвала тетя Клара. – Чего вы там делаете? Вольдемар! Слышь?

Ворота гаража распахнулись, и показались химики. Оставаться в замкнутом помещении было уже невозможно. Дядь Володя зажимал свой большой красный нос и хрипло кашлял. Из воспаленных глаз его текли слезы.

Пал Палыч выступал в широкополом переднике свекольного цвета. Как средневековый палач. В руках он держал большой стеклянный сосуд, через который шурился на солнце. При этом он кому-то еле слышно грозил.

– Щас, – шевелил он одними губами, – щас мы его, как Тузик грелку...

Вонь из гаража волной накрыла двор. Зафанило так, что прохожие стали останавливаться и прилипать к забору, прикрывая ладонями носы. Всем было интересно. Редко когда в нашем поселке ставились научные опыты.

Наконец Пал Палыч объявил:

– Можно!

Машину выкатили во двор.

Пал Палыч вылил содержимое сосуда в ведро и надел резиновые перчатки. Потом взял обыкновенную мочалку, макнул ее пару раз в раствор и щедро провел по шашечкам. Все затаили дыхание. И...

Ничего не произошло. Шашечки остались на месте. Только заблестели ярче. По рядам прокатился разочарованный выдох.

– Ну что ж, – потряхнул головой Пал Палыч. – Придется прибегнуть к крайним мерам.

И снова исчез в гараже. Через пять минут вышел. В руках у него была какая-то бурая гадость. Он смело вылил ее в ведро. Оттуда повалил пар. Запахло так, что заскулил пес на цепи. Куры перестали купаться в пыли и замерли, вытянув шеи. Кое-кто из любопытствующих не выдержал и поспешил обратиться. Остались только самые стойкие.

Пал Палыч снова обмакнул мочалку и провел по шашечкам. Они тут же сошли. Вместе... с родным цветом. На дверце, обнажая металл, образовалась серебристая полоса.

– Ептыть! – вырвалось у Пал Палыча.

– Бл... – процедил дядь Володя.

– Придурки, – подытожила результаты эксперимента тетя Клара, и они с сестрой ушли обратно в дом.

Толпа разошлась.

У Хасена-ага тоже была своя любовь. Алабай.

Он привез его еще слепым щенком с Кавказа и назвал почему-то Мальчиком. То, что он мальчик, было видно и так. Причем издалека. Но *почему именно Мальчик – этого никто не знал.*

Отец Мальчика дрался на Кавказе за деньги.

Сын пошел в отца, вымахал с теленка и сидел в клетке. Цепи Ха-сен-ага не доверял.

Раз в неделю Мальчика положено было выгуливать. Желательно подальше от людей. Обычно Хасен-ага уходил с Мальчиком к реке. За поселок. Там они подолгу бродили вдоль берега.

Хасен-ага собирал цветочки, что-то там насвистывая под нос. Он вообще был склонен к сантиментам и иногда, когда никто не слышал, звал своего пса разными ласковыми именами. Пацанчик там, Мужичок, Лохматик...

Чтобы руки были свободными, Хасен-ага обматывал аркан вокруг пояса. Так и гуляли. Мальчик задирает ногу у понравившегося дерева и водил ушами, слушая мягкий голос своего хозяина. Им было хорошо. Вдвоем. И это была любовь. Суровая. Крепкая. Мужская.

Вот и в тот день все было как обычно. Пока на противоположном берегу не мелькнул заяц. И откуда он, скотина, взялся?

Мальчик не любил зайцев. Можно сказать, терпеть не мог. Можно даже сказать – ненавидел. Конечно же, он кинулся за ним. От мощного рывка у Хасена-ага слетела шапка. Его потом по ней и нашли.

А поначалу он не успел даже крикнуть. Так и побежал, роняя цветы. Они тоже остались лежать на земле, обозначая примерный маршрут следования.

Хасен-ага не умел плавать. И вообще он не любил воду. Тем более в конце февраля – начале марта. В предгорьях еще снег.

Преодолев сильное течение, Мальчик рванул за зайцем дальше по полю. Гнал до самого леса. Балласта на том конце веревки не замечал.

Хасен-ага, несмотря на свои шестьдесят восемь лет и пятьдесят четыре килограмма веса, первую часть дистанции отмахал довольно резво. Потом стал отставать. Потом – сопротивляться. Попытался тормознуть. Сначала – на двух. Потом – на всех четырех. Большую часть дистанции ему пришлось преодолеть волоком.

Мальчику он, конечно, кричал: мол, зачем тебе сдался этот долбаный зайчик? Мол, не нужен он. Нехай, мол, живет, как ему хочется. В нем мяса килограмма три максимум. Да и вообще наверняка он больной. Заразный. Этот заяц.

Но Мальчик в азарте погони ничего не слышал.

Как указывали дальше следы, когда Мальчик и Хасен-ага выскочили из речки, к лесу они бежали уже полностью мокрыми. Встречный ветерок, надо полагать, заметно освежал, но преградой служить не мог.

Не знаю, какие мысли возникали у Хасена-ага в голове по мере приближения к лесу, но мощные кроны столетних дубов оптимизма явно не прибавляли. Представить страшно, если вот так вот, со всего маху, да об ствол...

Короче, не хочется тут останавливаться на подробностях.

Заяц ушел. Скотина!

Хасена-ага спасло то, что аркан излохматился о камни и порвался.

После этого случая Хасен-ага долго не выгуливал своего пса. Пока лечился – ребра там, колени, плечи, поясница, руки, голова, лицо, то да се...

Они стали гулять позже. Уже летом. В колхозных садах. Там стрекозы и бабочки. Мальчик любил их. И Хасена он любил. Очень любил. Можно сказать, даже жалел.

А я любил олады. Мама пекла. По воскресеньям.

Все мы жили по соседству. Одним миром. Домики наши стояли рядышком, прижавшись друг к дружке, как родня. И у всех была своя любовь. У Витьки, у дядь Володи, у Пипоша, у Хасена-ага, у Мальчика и даже у Яшки... У всех. Оттого, наверное, казалось, что весь мир вокруг заполнен любовью. Он весь соткан из нее. Из любви. И в него напихали столько счастья, столько радости земной, что хватит на всех, даже если кто вдруг задумает раздавать ее просто так. И не было места злобе. Ненависти. Зависти...

А может, мне просто так казалось.

РамиШеам

С культурой у нас в поселке всегда был полный нормалек. Газеты приходили, кино крутилось, а в колхозной библиотеке хранилось много книг.

Справно работал магазин. В одном углу продавали хлеб, в другом -хозяйственное мыло.

На главных улицах местами был асфальт. Не на очень главных – не было. Ну и не надо. Никто и не просил.

И еще у нас был клуб. Старый. Деревянный. Уютный.

Клуб стоял на небольшом пригорке. Перед ним, у парадного входа, вкопанная в землю, торчала металлическая рама. С пазами. В них киномеханик тетя Паша вставляла афишу с новым фильмом, который привозили из райцентра. Афиши рисовал сын тети Паши – Леха. Все его звали – Айвазовский. Даже сама тетя Паша. Он был у нее единственным, и она его очень любила. Переживала за него. Иной раз так и говорила:

– Айвазовский, еще раз смешаешь ацетон с одеколоном – яйца оторву.

Айвазовский писал в основном маслом. Иногда экспериментировал с акварелью. Афиши рисовал с душой. При этом каждый раз придумывал слоганы, которые отражали суть картины. Сейчас бы я сказал, что он занимался питчингом. Но тогда я этих заграничных слов не знал и лишь примерно догадывался, что могло скрываться за короткой, как выстрел, надписью.

Ну, например, Айвазовский мог нарисовать ковбоя с большим кольцом и размашисто написать: «Не верь шерифу! Он предал парторга». Или же индейца со скальпом бледнолицего в руках и соответствующим предупреждением: «Делавары – за правду, а сиу – хуже городских!».

Конечно, нам хотелось походить на Гойко Митича. Он бегал, прыгал, скакал и ходил одетый исключительно в брюки с бахромой. Торс он прикрывал редко. Предпочитал голый верх. Да ему и не следовало этого делать, потому что у него были сильно развиты, как говорил тот же Айвазовский: передние дельтовидные, боковые дельтовидные, наружные косые, плечелучевые, грудные и двуглавые.

Было видно, что Гойко серьезно работал над прессом. В результате пресс его походил на черепаший панцирь и кубики выступали прямо из живота, даже если он его и не напрягал. Короче, он весь состоял из натруженных жил и доброкачественного мяса. Волосы Гойко не стриг.

Во всех фильмах легендарной киностудии БЕЖ он играл главного индейца и противостоял коварным бледнолицым. За ним гонялись, в него стреляли, его ловили, вешали, сжигали, топили, но он все равно вырывался и побеждал всех своих врагов. При этом делал все изящно, спокойно, красиво – и всегда с художественной выдумкой.

Что и говорить, Гойко был неотразим, и мы часами висели на турниках возле школы. Натирали ладони до кровавых пузырей. Нарастивали дельтовидные и двуглавые. Бесполезно. Они не росли. Грудные – тоже. Что касается боковых и плечелучевых, то о них нечего было и говорить. Но мы не теряли надежды. О биологических добавках мы тогда еще ничего не слышали.

Помимо индейцев, мы ходили на индийцев. Или – на индусов? Как правильно?

Я помню многое из того репертуара: «Сын прокурора», «Слоны мои друзья», «Господин 420)), «Бродяга», «Рам и Шеам», «Рам и Лакхан», «Зита и Гита», «Бобби», «Любовный недуг»... Эх-х, да разве все перечислишь!

В рейтингах посещаемости, как сказали бы сейчас, индийские фильмы были самыми «смотрибельными». Они были вне конкуренции. Для меня до сих пор остается тайной, почему именно на них собирался весь поселок. Когда я говорю «весь», имею в виду то, что в нашем селе жили людей разных национальностей. Я даже не могу сейчас посчитать – скольких. Ну, много нас было. Очень много. И если на советские фильмы про директоров заводов и комбайнеров шли больше русские, то на «Кыз-Жибек», понятно, казахи. На великолепного Гойко Митича – тинейджеры и молодежь. На мелодрамы – женщины. А вот на индийские фильмы собирались все. Причем первые пять рядов занимали турки-месхетинцы. Они больше ни на что другое и не ходили. Может быть, в индийцах (или индусах) они видели своих дальних родственников? Не знаю. Говорю же – тайна.

Месхетинцы приходили задолго до начала сеанса: разряженные, расфуфыренные, покупали у тети Паши билеты и чинно рассаживались по местам. В их рядах преобладали дамы. В руках у них были предусмотрительно заготовлены платочки. Для слез.

Русские, немцы и украинцы, как правило, шли парами. Они устраивались сразу же за турками. Карманы их были набиты семечками. Мне думается, это с них начался сегодняшний попкорн.

Корейцы, узбеки, уйгуры и греки оказывались где-то посередке. Особого порядка там не наблюдалось. Все как-то вразнобой, вперемежку.

Казахи традиционно опаздывали. Им доставались последние ряды.

Повторяю, публика набивалась самая разношерстная. Взрослые, дети, комбайнеры, шофера, доярки, механизаторы, деревенская интеллигенция, учителя...

Мест, как правило, не хватало. Устраивались на подоконниках, в проходах, на коленках, по двое-трое на место.

Дышать было нечем. Открывали нараспашку двери. Не спасало. Духота.

Сзади курили. Дым клубился и медленно поднимался к потолку. Неслышно оседала пыль в неровных лучах проектора. И казалось, мы на полтора часа перенеслись во влажную, душную Индию и медленно истекаем потом среди слонов, змей, тигров и непроходимых джунглей.

Как ни странно, драки нам казались жестокими. И кровь лилась вроде как настоящая. И танцы несуразные враспырку – вполне себе зажигательные. И женщины не такие уж упитанные. Просто с формами. И главное, сюжеты реально были слезоточивые. Хотя, казалось бы, Радж Капур не такой уж и плаксивый. И ком подкатывал к горлу, когда прокурор готов был засадить своего сына за решетку, но потом узнавал в нем родную кровинушку. И невозможно было без слез копать могилу слону, который бросился под выстрел отпетого злодея, заслонив собой хозяина. И уж совсем было неумолимо провожать в последний путь Кхульбухшан Кхарбанда, который уступил другу – Падмини Калапуру – свою невесту Виджаендру Гхатгу, а сам нагло утоп в реке, хоть и умел плавать лучше всех в округе.

А песни!

Вы помните песни, которые пели одни и те же люди одними и теми же голосами? И ведь не надоедало, хоть и не знаешь слов. Понятное дело – все песни о любви. О чем они еще могли петь, эти несчастные индийцы (или индусы)?

И вот набивались мы всем поселком в наш сельский клуб – как кильки в банке и втихоря лили слезы. И никто особо не стеснялся. И взрослые, и дети, и председатель совхоза, и завбазой, и участковый – Курман-ага, и учительница литературы Валентина Петровна, и суровый математик Илья Кузьмич, и доярки с фермы – Кульпаш с Маржан-тате...

И что-то очень важное происходило в нашем покосившемся старом клубе. Я еще не очень понимал, что именно. Но смутно догадывался: что-то очень важное.

Я ощущал странное и одновременно приятное, щекочущее чувство. На какой-то момент мы становились ближе друг к другу. Роднее, что ли. Мне казалось, что мы все – одна семья. И то, что происходит на экране, происходит с кем-то из наших. И нам его (или ее) было жалко. И хотелось помочь. Но – как?

А это уже не так важно. Важно, что хотелось. Помочь. Поддержать. Всем миром. Асаром. И я твердо знал, что никто бы не отказался отдать свои деньги, припрятанные на черный день, подставить плечо, снять с себя последнюю рубашку и прикрыть голые плечи бедному рикше...

Оказывается, это называется – саспенс. Когда люди в тревожном напряжении переживают одни и те же эмоции. Например, чувство соучастия. Или сострадания. А это именно те чувства, которых сильно не хватает в наше время. И, к сожалению, сегодня их уже не разбудить простеньким сюжетом. И не вызвать бесхитростной песенкой индийского пастушка.

Куда же они делись, эти чувства?

Что интересно: кино-то индийское осталось прежним. Значит, изменились мы?

Может, мы настолько поумнели, что нас уже не купить банальной историей простеньким сюжетом?.. Мы пресытились, и нас уже надо раскачивать чем-нибудь покруче и по жестче? Нам нужно теперь постоянно повышать дозу?

Нет, я не скучаю по индийским фильмам. Я, вообще-то, о другом. О том, что находится за пределами экрана. Более того, я сам нынче не могу смотреть индижское кино. Не могу – и все. Как отрезало.

Все эти тучные дядьки и тетки с подведенными бровями. Все эти танцы тряские, весь этот краковак под дождем, весь этот наивный экшн с литрами томатного сока...

Оно ведь не воспитывает художественный вкус – индижское кино. Его можно рассматривать, скорее, как тест на простодушие. И милосердие. Да, именно милосердие.

Это как старая игрушка. Мишка с оторванным ухом, который затерялся среди машинок на пультах с переливающимися на свету хромированными бамперами. С ним скучно – с этим мишкоть Он безбожно устарел. За него даже неловко перед друзьями. Единственные эмоции, какие он вызывает, – это смех. Да и не смех это даже, а так – снисходительная ухмылка.

И все же.

Я смутно ощущаю: что-то ушло. Что-то большое и важное. Исчезло безвозвратно.

Какой еще Капур? Какой бродяга? Что он хотел сказать? Он ведь такой... не брутальный. Не сексуальный. Не спортивный. Да он вообще, можно сказать, никакой И эти все, кто рядом с ним, – сборище неудачников. Лузеры.

Да чего там говорить: они ведь до сих пор не целуются, не раздеваются, не прыгают в постель, а еще и поют все время о любви!

Клоуны...

А вы знаете, я – верю.

Наступит время, когда американцев будут презирать за то, что они придумали свой хваленый Голливуд. За то, что они предали Чаплина и разрушили мир наших грез. За то, что они возвели пошлятину в абсолют и сделали ее главным орудием своего заработка. За то, что они

навязали миру безвкусное убожество, всю эту дорогостоящую пустышку, подсунули фальшивые бриллианты, облепив их искусственными улыбками и силиконом...

Когда-нибудь им станет стыдно. Вот увидите.

Все это время они вваливали миру – и мир, наивный, простодушный, поверил им и открыл свое сердце. Пустил в святая святых. И... подсел на дурман и обманку. И отравилось это сердце. Покрылось ледяной коркой безразличия и глухоты. А теперь уже поздно. Теперь не вернуть... Теперь мы сами играемся в их пустые игрушки. Косим под крутизну и бесшабашность...

А вы знаете, я скучаю по ним. По Раму и Шеаму. По Зите и Гите. По слонам. По Бобби. По тете Паше. По Айвазовскому. По его афишам. Нет их больше на свете. Да и клуба нашего тоже нет. Снесли его давно. Только рама и осталась. Она проржавела от времени и просела. И пустует.словно маленький экран, в котором не крутится больше смешное, наивное, милосердное индийское кино.

Шизгара

Во времена наших дедов и прадедов «первым парнем на деревне» был домбрист. Ну или «жыршист».

Во времена отцов таковым считался баянист.

В наше время им стал – гитарист.

Первым взял в руки гитару Ержик. Мы звали его Ромео. Потому что он был влюблен в коротышку Сару.

Безответно.

Сару, по идее, следовало бы назвать Джульеттой, но по очевидным причинам никто ее так не называл. Она весила 89 килограммов и могла в одиночку вытолкать из грязи мотоцикл. Поэтому она оставалась Сарой. Коротышкой Сарой.

Матушка Сары – Куляш-апай – работала на ферме. Дояркой. Сливки со сметаной дали предсказуемый результат. Сара выросла смешливой, говорливой и волнительной во всех смыслах. Поэтому в целом ержиков-ский выбор мы одобряли. Кота вместе они смотрелись, конечно, неоднозначно. Бухенвальдский крепыш в затасканных штанах с отвисшими коленками и рядом – метр шестьдесят два шумного, неумного веселья.

Если честно, Ержика Сара не воспринимала. Она называла его «манка» – сопля. Может, поэтому он и решил зайти с другой стороны? Говорят же: женщины смотрят ушами. Или как там знающие люди говорят?

Короче, Ромео раздобыл где-то гитару и начал на ней трюндеть. Через пару дней показал нам свои пальцы. Возле ногтей вздулись кровавые пузыри. Пацаны уважительно поцокали языками. Нуртай – наш лидер и вожак – оценивающе приподнял брови.

Через месяц Ромео показал нам пару аккордов и даже спел два куплета из «Снег кружится, летает и тает...».

Пацаны пооткрывали рты от изумления. Нуртай приосанился и выкатил нижнюю губу.

Через три месяца Ромео мог петь уже двадцать восемь минут без остановки. Пел он исключительно знаковые вещи. В репертуаре были «Дос-Мукасан», «Самоцветы», «Песняры», Антонов, кое-что из «Бит-лов» и даже отрывок из «Лед Зеппелин». Всех их более или менее мы знали и слышали, а вот фотографию «Лед Зеппелина» Ромео прятал ото всех и держал сложенной вчетверо в заднем кармане своих затасканных штанов. Наверняка вырвал где-то из импортного журнала.

«Ледзеппелины» вызывали в нем какой-то мистический ужас и одновременно восхищение. Когда он о них говорил, в глазах его начинали прыгать бесы. Однажды он так расчувствовался, что не выдержал и показал нам этих самых «ледзеппелинов».

Мы взгляделись.

На снимке какие-то волосатые додики в лохмотьях смолили бычки на кортах. Примерно такие же «ледзеппелины» с раннего утра начинали дежурить у нашего сельмага, сшибая у прохожих мелочь на пузырь.

Но как бы то ни было, на концерты Ромео стала собираться молодежь. Приходили загодя, занимали места. Кто с пивом, кто – так.

Приходили девочки. С семечками.

Сценой служили бревна. Толстые такие, заполированные деревенскими задами бревна, что валялись с незапамятных времен напротив дома Ромео. Видимо, кто-то спилил столетние тополя, а утащить не смог. Вот они и остались лежать. Бесхозные. Мы устраивались на них ближе к вечеру и ждали.

Ромео не спеша запирали скот по сараям, отвязывали на ночь лопоухого пса Моряка и кривой походкой направлялся к нам с гитарой.

В детстве он участвовал в байге и слетел с лошади. Сильно ушибся. С тех пор слегка подволакивал левую ногу. Издали его вполне можно было принять за приболевшего Элвиса. Или за обкуренного Джимми Пейджа. Было в нем что-то такое, что говорило о его прочной связи с астралом.

Нуртай им гордился.

Начинал Ромео с культового «Козімді жумсам да керем сеш...».

Шлягер того времени. Дос-мукасановский. Конечно же, о безответной любви.

*Кезімді жумсам да керем сені,
Еседі арманның коньыр желе
Күз бол, Алатау, бакытыма,
Күз бол, кек терек келенкелі...*

Вольный перевод:

«Стоит мне только на минутку закрыть глаза, как твой немеркнувший образ возникает в моем мозгу. Ветерок уносит меня в мечтах в дали светлые. В качестве свидетеля моего безмерного счастья может выступить вот этот горный пик, а его показания может в полном объеме подтвердить вот этот тенистый карагач...»

Дальше следует припев:

*Күз бал, жұлдыз,
Күз бал, айым,
Күз бал, Алатауым.*

В припеве влюбленный юноша еще раз ссылается на показания свидетелей, подчеркивая их бесстрастность, а следовательно – объективность. Он так и поет:

«Будь свидетелем, звездочка,

Будь свидетелем, луна,

Ну и ты заодно – горный хребет».

Припев повторяется трижды. Всякий раз после основного текста. Понятное дело, шансов на отказ у возлюбленной не остается никаких.

Надо ли говорить, что Сара после таких публичных откровений таяла как халва на солнце. Все понимали, что Сарины бастионы трещат по швам и держать ей круговую оборону с каждым разом становится все трудней и трудней. Счет шел на дни. А может, и на сутки. Пацаны делали ставки.

Нуртай, как человек прозорливый, быстро раскусил преимущества всей этой неожиданной стратегии и в выходные съездил в райцентр. Купил гитару в промтоварном и стал брать частные уроки у Ромео.

Через месяц они пели уже дуэтом. При этом Нуртай частенько солировал. Голос у него был покрепче, чем у Ромео, да и репертуар он заметно обогатил. Там присутствовали уже Высоцкий с Ободзинским, преобладал уголовный шансон.

Правда, в ноты Нуртай попадал редко. Брал в основном экспрессией. Напором. Иногда даже не сразу можно было сообразить, какую именно песню «зажигает» в данный момент Нуртай, но слушателей это не смущало – публика пребывала в полнейшем восторге.

Еще через какое-то время Нуртай заставил всех нас взяться за гитары. В его беспокойную голову постучалась безумная идея о создании полноценного ансамбля. Для чего – мы поняли значительно позже. А вначале нам, грешным делом, подумалось, что ему уже не хватает местных дульсиной. Он уже победил две улицы сверху донизу. Обслужил по ходу следования два переулка. Оставалась неохваченной только ферма, ну и студентки гидромелиоративного техникума. Их общага стояла на отшибе.

Оказалось, мы ошибались.

В клубе, что высился посреди нашего поселка на небольшом холме, имелся уголок с инструментами. Мы слышали, что там есть комплект для ВИА, то есть вокально-инструментального ансамбля. Когда-то совхоз приобрел по случаю. А может, просто прислали по разнарядке. Одним словом, попросили мы ключ от клуба у киномеханика тети Паши, чтобы попасть в этот самый уголок. Она дала без лишних расспросов.

На двери висела табличка:

«Отдел худ. самодеятельности. Отв. Каржаубаева А.»

Мы зашли.

Комната была завалена всякой рухлядью: табуретками, стульями с отвалившимися спинками, какой-то изодранной ветошью, запыленными тубами и тромбонами. В полутьме их мятые бока отливали желтоватой медью. В углу темнел продавленный диван. За ним с постамента хмуро глядела на весь этот беспорядок гипсовая голова Горького. В комнате обитал чахлый дух запустения.

Нашли мы и гитары. Три штуки. Смахнули с них пыль и воткнули штекеры в усилитель. Из колонок донеслось протяжное: «У-у-у...»

На одной из гитар мы недосчитались струн: их оказалось всего четыре.

– Это – бас, – пояснил Нуртай.

Нас тоже было четверо. Гитар на всех не хватило. Поэтому мне досталась барабанная установка. Впрочем, это громко сказано. Установка тоже дышала на ладан. В одном из барабанов вообще жила мышь.

Нуртай распределил все следующим образом: Ромео отдал ритм-гитару, Ганишке (Суслику) – бас. Себе, конечно же, забрал соло.

И все равно – это был уже уровень. Это тебе уже не вой на луну из подворотни про свидетелей. И мы это понимали. И рьяно взялись за дело.

Перво-наперво притащили из дому инструменты: паяльники там, плоскогубцы, кусачки, отвертки, ну и все такое, что могло пригодиться. Съездили в промтоварный – накупили струн и попытались вдохнуть жизнь во всю эту симфонию.

Кстати, гитары эти были не такими, к которым мы привыкли. Мы же самовыражались на акустических, а тут – на электричестве...

Во-первых, эти были потяжелее. С наворотами: куча кнопок и блестяшек.

Во-вторых, звучали они совсем по-иному. Ну а как же? Цивилизация!

Ну и в-третьих, они были настоящие. Такие же мы видели по телевизору у тех же «досмукасанов» с «песнярами», у того же Пейджа с «ледзеппелинами». И пусть вся эта музыка разва-

ливалась по частям, а проводка искрила и дымилась, мы чувствовали себя первопроходцами. Мы сделали гигантский шаг и стали серьезнее. Взрослее! Талантливее, черт побери!

Мы принялись рьяно репетировать. Каждый день. После уроков. А учились мы тогда в девятом классе. Один лишь Нуртай шоферил. Он приходил в клуб сразу после смены, как только привозил с картошки последнюю бригаду.

Он возил работяг на Ушконыр. Это в горах наших было такое отделение совхоза. Ордена Ленина картофельно-овощное хозяйство имени Ленина – если полностью. Там еще женская колония была. Эчки пыхтели на химии. А снизу к ним по утрам привозили трактористов с мотористами. Техников разных.

Ну и вот...

Сформировали мы, значит, репертуар. В основном там преобладал рок. Тяжелый, естессно.

Откуда мы его взяли?

Опять же – Нуртай.

Он сторговался с учителем английского языка. Ездил из-за этого специально в райцентр. Там была десятилетка. И этот учитель, как человек прогрессивный и продвинутый, за бутылку бормотухи напел ему «Шизгару».

Эта забойная штучка стала потом гвоздем наших выступлений. Мы ее заучили хором и самозабвенно орали со сцены. Никто, правда, не знал, о чем она. О любви, наверное? О чем же еще? Тогда все песни были о любви.

Не думаю, что у нас все было в порядке с произношением. Оксфордов мы не оканчивали, кембриджев – тем более. Да никто на эту тему особо и не парился. К тому же Нуртай записал ее казахскими буквами. А из иностранных мы учили только немецкий. Его нам преподавал Скакбай-ага.

Между прочим, из-за нехватки учителей этот Скакбай-ага преподавал нам сразу четыре предмета: труд, начальную военную подготовку, географию и немецкий язык.

Труд – потому что он любил повторять, что труд сделал из обезьяны человека.

Немецкий – потому что он воевал и дошел со своим батальоном до Одера. Там его ранило в пятку.

Военное дело – потому что он был старшиной в отставке.

Ну и географию – потому что он всю Европу «прополз пешком».

Скакбай-ага был человеком знающим. Иной раз, помнится, на уроках географии он увлекался настолько, что ударялся в детали. К примеру, он в подробностях знал Польшу. А именно – реку Вислу: через какие города она протекает, где куда сворачивает, где какая глубина и даже какая рыба там водится. По ходу рассказа он частенько задерживался на какой-нибудь частности.

– Так, засранцы, – начинал он по-отечески тепло. – Вот это – Краков, большой польский город. Крыши домов там все оранжевые. Черепица называется. А асфальта там нет, сплошь – булыжник. То есть -камни. Старинные. А вот здесь, рядом с Краковом, – Сандомир, маленький такой городишко, типа нашего Каскелена. А вот тут, под Сандомиром, есть одна речка, мелкая такая, по грудь, там водятся сазаны, судак есть немножко, окунь, – Шкарпавы называется. А вот тут, – Скакбай-ага подслеповато шурился сквозь толстые линзы и тыкал указкой в карту, – вот тут, у самой Шкарпавы, есть деревня – Ослонка!

И уносился в воспоминания.

– Здесь стоял наш полк. И вот тут меня ранило. Осколком. Вот сюда, чуть ниже колена...

И он выставлял вперед свою покалеченную ногу в хромовом сапоге.

Мы всем классом таращились на его сапог.

И тут, в наступившей тишине, Скакбай-ага вдруг вскрикивал командирским голосом:

– Копбаев!

– Я! – вскакивал Арсик.

– Ты можешь потрогать, – великодушно разрешал Скакбай-ага.

Арсик был отличником и сидел за первой партой. Он подходил к Скакбаю-ага и послушно трогал ногу.

– Понял?! – грозно спрашивал Скакбай-ага.

– Еще бы! – кивал Арсик.

– Молодец! Садись! – приказывал Скакбай-ага. – Пять!

И Скакбай-ага размашисто ставил в журнале напротив фамилии «Копбаев» жирную пятерку, а Арсик возвращался на свое место.

В своих контурных картах мы старательно рисовали речку Шкарпавы и деревню Ослонку. Я даже рисовал солдат и танки. И бой за деревню, и как ранило в ногу Скакбая-ага, и как он истекает кровью, но рвется обратно воевать, и как тащат его в тыл санитары...

Но что-то я отвлекся...

Так вот, насчет английского.

Никто особенно не заморачивался по поводу произношения. Понятно же, что поем на заграничном. Это уже само собой шло в зачет. Тогда все прогрессивные пели на английском. Не на китайском же!

Нуртай еще несколько раз съездил к преподу в райцентр, и мы за счет бормотухи заметно обогатили свой репертуар. Теперь у нас все состояло из шлягеров. Были там и «Энималс» – «Скоты», значит. «Битлы», конечно. Ну там ихнее – «Летит би» и «Естудэй». «Хотел Калифорния» – в обязательном порядке. «Лед Зеппелин» – «Стэрвей ту хэ-вен». Правда, в сильно усеченном варианте.

Просто там проигрыш есть такой, гитарный, в середине песни. Чтобы его сыграть, надо обкуриться. Да так, чтобы пальцы потом сами веером бегали по струнам. Мы пробовали: без дури – бесполезно. Ну и решили обойтись без этого чумового проигрыша.

Со «Смок он зе вотер» «Дип Парпла» – та же история.

Короче, все шло путем. Мы осваивали классику.



Ермек Турсунов (крайний справа) с друзьями. 1977 год

Но потом кто-то однажды притащил на «Романтике» пинк-флойдовский галлюциноген. И все. И мы зависли. Это был удар ниже пояса. Это был просто атас. И это было просто несправедливо до невыносимости.

Мы не то что повторить – мы запомнить не могли. Что они там вытворяют?! И что за чем там у них следует?! Короче – космос.

А в какой-то композиции у них там вообще собаки воют и свиньи хрюкают. Где мы их тут возьмем? Поющих собак. Или там – свиней.

У нас тут никто их не держит.

Да даже если и найдем! Кто с ними репетировать будет? Надо же еще, чтобы они вовремя захрюкали, в правильной тональности. А у этих «пинкфлойдов» свиньи хрюкали в такт и очень даже музыкально. В общем, по многим объективным причинам от «Пинк Флойда» пришлось отказаться.

Элтон Джона мы не пели. Из принципиальных соображений. Пошел он, этот элтонджон! .. Нас бы в нашем поселке просто не поняли.

А на «Би Джиз» у нас не нашлось подходящих голосов...

Можно было бы попробовать, в принципе. Если тисками зажать... Ну, в общем, «Би Джиз» тоже, как выяснилось, не совсем наше.

Ансамблю нужно было название. Мы долго думали. Перебрали массу вариантов. Потом кто-то сказал, что «Битлз» переводится как «Жуки». И тут уже все моментально срослось. «Майские жуки»! Потому что наш поселок носил праздничное название – Первомайский.

Шло время. Мы чувствовали, как набираем музыкальный вес. Коллектив постепенно обрстал фанатами. Они неизменно приходили на наши репетиции и тихо рассаживались по полу вкруговую. Шептались. Все понимали, что присутствуют при таинстве, и потому никому не дозволялось вести себя неподобающим образом.

Приходила и Сара. Но Ромео уже не питал к ней прежнего интереса. Он уже был избалован женским вниманием и не особо ее замечал.

Любовные страдания заметно подточили ладную Сарину фигуру. Она весила теперь шестьдесят восемь, но Ромео это приятное обстоятельство уже не вдохновляло.

В один из дней в дверь репетиционной кто-то постучался. Вошла миловидная мадам. Сразу было видно – городская, не из местных. Оказалось, это она – «отв. Каржаубаева А.».

– Айман, – представилась она, – заведующая культмассовым сектором. А вы, я так понимаю, «Жуки»?

Было приятно, что про нас уже ходят слухи на уровне правления совхоза. Мы сдержанно кивнули.

– Мне поручено взять над вами шефство, – сказала она.

– Кто это, интересно, поручил? – усмехнулся Нуртай.

– Директор совхоза товарищ Каликов, – бодро отчеканила Айман.

Есена-ага мы уважали. Он был хороший. И его тут все уважали.

– И как вы собираетесь шефствовать? – скривился Нуртай.

– Как это – «как»? – ответила Айман вопросом на вопрос. – Я окончила консерваторию. Факультет симфонического и хорового дирижирования. И у меня высшее музыкальное образование. Вот вы... – она посмотрела на Нуртая с превосходством, – вы ноты читать умеете?

Ноты Нуртай читать не умел. Да и никто их не читал. Мы их, можно сказать, в глаза не видели. Ноты эти. Да и зачем они?

Да мы и книги-то не очень читали. Так, газеты иногда. По случаю... В селе вообще все эти газеты для этого самого случая и выписывали.

А насчет нот...

Короче, Нуртай промямлил в ответ что-то бессвязное. По его позициям был нанесен ошутимый удар.

– Ну и вот, – улыбнулась Айман, – я бы могла вас научить.

– Да на фига нам? – отмахнулся Нуртай. – Жили без них...

– Не думаю, – простодушно ответила Айман. – Разве вы не собираетесь дальше расти?

Расти мы, конечно, собирались. Но как – не знали.

– Чтобы расти, нужны инструменты, – резонно возразил Нуртай. – А этим уже по сто лет.

– Правильно, – согласилась Айман. – Я поставлю вопрос перед правлением. А сейчас вы можете мне что-нибудь сыграть?

Мы повернулись к Нуртаю.

– Ну-у... – замялся вдруг он.

– А что вы играете? Что у вас в репертуаре?

– Ну... разное, – промычал Нуртай.

– Тогда сыграйте что-нибудь из вашего любимого, – попросила Айман и устроилась на поломанном стульчике. И как-то особенно симпатично склонила аккуратную свою голову набок.

Мы не стали раскрывать карты сразу. Сыграли Айман простенькое: «Летающей походкой ты вышла из мая».

Нам нравилась эта песня. Мы считали ее своей, потому что, опять же, в ней пелось про майских. То есть – про нас.

Когда все поутихло, Айман улыбнулась. Попросила:

– А есть еще что-нибудь?

Мы почувствовали благожелательность и спели еще парочку симпатичных вещей.

– Ну что ж... – сказала Айман и поднялась. – Отлично. Молодцы. Давайте тогда через месяц устроим танцы. К годовщине Великого Октября.

– Танцы? – спросили мы хором.

– Ну да, – кивнула Айман. – А что? Репертуар у вас, как я вижу, подходящий. А молодежи нужен культурный отдых. Не все же время водку пить и драться.

С последним доводом Айман попала в точку.

Дрались у нас каждую субботу. Да мы и сами в этом нередко участвовали.

Это как профилактика. Выброс дурной энергии. Проверка психического здоровья. Не помашешься в субботу, потом всю неделю голова болит.

В общем, до годовщины Великого Октября оставался еще месяц с гаком. За это время можно было прокатать всю программу. Да и пора уже было, честно говоря, выходить на люди. Зачем иначе, спрашивается, вся эта бодяга? Не все же время за девками волочиться.

Короче, ближе к сроку заказали мы Айвазовскому...

Был у нас тут один такой мазила, рисовал зазывные афиши для кино. Тоже, блин, достопримечательность. Отдельного рассказа заслуживает. Ацетон пил! Смешивал с какой-то фигней – и пил. А потом такое выделял!..

Ну ладно, о нем лучше в другой раз.

...Заказали мы, значит, Айвазовскому плакат А чтобы не объясни на пальцах, чего мы от него хотим, принесли фотку «Лед Зеппелина>>, ту самую, с алконавтами на кортах. И Айвазовский тут же намалевал эскиз.

Он перенес картинку на плакат, а вместо лиц «ледзеппелинов» изобразил нас. Всех четверых. Получилось весьма и весьма. Ну и надпись Айвазовский снизу залепил подходящую:

«Впервые на большой сцене! Сенсация сезона! «Майские жуки!» Посвящается 61-й годовщине Великого Октября!

Клуб. Воскр. 20.00. Вход: 30 копеек».

И тут мы вдруг заволновались. Всех, можно сказать, слегка стало «потраховывать». Все-таки это тебе не бревна. Это ж все-таки сцена. Зал. Публика. Пусть все и свои. И это даже хуже, что свои. Они же нас не воспринимают как артистов. Они же держат нас за местную шантрапу. А тут – на тебе: «Сенсация сезона!».

Но деваться некуда. Паровоз, что называется, набрал ход. И мы стали честно готовиться.

Засиживались допоздна. Дым стоял коромыслом. Айман помогала. Все-таки она в музыке шарила больше, чем мы все, вместе взятые. Да и потом, как выяснилось, она вовсе и не собиралась покушаться на авторитет Нуртая. Наоборот, как человек догадливый и гибкий, Айман все сразу просекла и постаралась втереться к нему в доверие. Нуртая это устраивало.

И вот наступило то самое воскресенье. И та самая долбаная годовщина того самого долбаного Октября.

Я еще с утра почувствовал, как в горле что-то застряло поперек и мешает нормально дышать. И еще там, чуть пониже кадыка, противно защекотало. Плюс ко всему мерзко потели ладони.

В общем, ближе к вечеру расставили мы обреченно нашу жиденькую аппаратуру в концертном зале клуба и настроили инструменты.

Народ уже вышел из кино и стал кучковаться у входа – покурить. Потом все неторопливо потянулись вовнутрь.

Тетя Паша в дверях рвала билетики. Люди с нескрываемым любопытством проходили в длинный прямоугольный зал. Скапливались у сцены. Мы стояли там в полутьме. Видны были лишь наши размытые силуэты.

Шофера с автобазы помахали Нуртаю в знак солидарности. Кое-кто из них даже выкрикнул:

- Давай, Нурик!
- Зажигай!
- Красавчик!
- Врежь им!

Минут через десять дали наконец сценический свет. Народ, разглядев нас в свете ярких фонарей, попритих. Чабаны, что специально спустились с гор, нахмурились. Нуртаевские кенты с автобазы перестали улыбаться. Словом, задуманный эффект сработал. Наш сценический образ произвел впечатление и даже, можно сказать, прочно его застолбил.

Дело в том, что к шестьдесят первой годовщине Октябрьской революции мы успели отрастить волосы до плеч, как у «ледзепелинов», и пошить штаны-клеша. У Ромео они расходились книзу аж на тридцать четыре сантиметра, и издали казалось, будто он стоит в юбке. Суслик нацепил для форсу солнцезащитные очки, как у кота Базилио, и стал похож на слепого. Я тоже раздобыл пеструю рубашку с воротом до плеч. Нуртай замотался в цепь.

Зашушукались. До меня донеслись обрывки фраз:

- Ни фиги се!
- Чего это с ними?
- Это ж нуртаевские пацаны?
- А патлы-то отрастили, патлы...
- Ну а чего ты хотел? Хиппи!
- А рожи-то, рожи!
- Да-а... Рожи не спрячешь.
- Артисты, тоже мне!
- Штоты!
- По пятнадцать суток. Каждому. За один только внешний вид.
- В любую тюрьму, без характеристики!

Пауза явно затягивалась. Пора было начинать. Нуртай все вертел колки, хотя гитары давно уже были настроены. Делал он это не поднимая головы и не глядя в зал, всем видом своим показывая, что плевать он хотел на все эти гнилые разговорчики. Искусство выше всех этих пошлых пересудов.

Публика в нетерпении забеспокоилась.

– Э-э, Нурик! – донеслось наконец из толпы. – Чего ты там крутишь? Мандавошек ищешь, что ли? Начинай давай!

Это подал голос громила Кабылбек по прозвищу Калкан Кулак -лопоухий. Так его называли за уши, которые росли строго перпендикулярно голове. Он обладал бычьей силой и мог унести за раз пять мешков картошки.

– Чё, не видишь? Люди пришли! – поддержал его кто-то.

Нуртай пропустил реплики мимо ушей.

– Нуртай! Ты чё, оглох? Вынь бананы из ушей!

– Цену набивает.

– И цепь зачем-то у собаки забрал!

– Да не умеет он ничего!

– Э-э, Нурик! На футбол надо успеть: «Кайрат») играет с грузинами! -опять крикнул Калкан Кулак.

– Ну и катись к своим грузинам! – взорвался вдруг Нуртай. – Кто тебя тут держит?!

Все на секунду приумолкли.

– Да, Калкан, ты не шуми, – поддержал кто-то Нуртая из толпы.

– Видишь, человек волнуется. Гляди, как у него пальцы вон трясутся!

– Ссыт.

– Кто ссыт?! – встрепенулся тут Нуртай. – Никто тут не ссыт! Чего вообще вылупились? Тоже мне...

– Ты тут не хами! – оскорбился Калкан Кулак. – Люди деньги заплатили. Играй давай!

– И сыграю! – огрызнулся Нуртай.

– Ну и играй!

– Ну и щас!

– Ну и вот!

– Ну и?..

– Ну и!

И мы потихоньку начали. С приличного. Вернее, со знакомого всем миротворного школьного вальса.

Ромео неуверенно взял аккорд и сыграл вступление. Мы с секундным опозданием подхватили. Из колонок заухало: пум-баппа, пум-бап-па, пум-баппа, пум-баппа...

Тоненьким голоском Ромео затянул:

– «Когда уйдем со школьного двора под звуки нестареющего ва-а-альса...»

Мы благополучно дотянули песенку до конца и перевели дух. Публика благосклонно прослушала. В задних рядах кто-то вяло хлопнул, словно прибил комара.

Айман, поддерживая нас, показала большой палец.

Дальше у нас шло всем известное: «Там, где клен шумит над речной волной» и «За меня невеста отрыдает честно».

Парочки стали полегоньку танцевать. Их было немного. Все остальные чего-то ждали. Скорее всего, все еще не верили своим ушам.

Так, тихой сапой, мы стали добираться до нашего секретного оружия. До нашего припрятанного динамита. До нашего грома с молниями. Да нашей «Шизгары». Мы понимали: только она нас может выручить. Больше никто. И вот когда мы грянули:

*Зе гуддест он зе мунтэйн топ,
Воз борнинг лайк э силвер флэйм,
Зэ саммит оф быюти энд лов,
Энд венус воз хер нэйм!*

-народ заулыбался, задвигался, заерзал и принялся мотать головами в такт. А потом... Потом!

Первой не выдержала Ферапонтова Людка – раздатчица из столовой стройчасти. Она дождалась начала припева и вылетела с воплем: «Шизгара!» Чабаны, что стояли рядом суровой кучкой, от неожиданности разом шарахнулись в сторону.

Видимо, Людка тоже откуда-то надыбала текст. С ней – ее подружка Перизат. Продавщица из сельмага, вертлявая такая баба. Она тоже завопила: «Ес, бэби! Шизгара!))» – и тоже кинулась трясти своими богатыми закромами.

За ними поскакали Буренкова, учетчица из арматурного, и дочка дядь Коли Абгольца – косая Ленка. За ними повалила уже вся ферма во главе с завбазой Пернегуль.

У сцены уже никто не томился. Все подхватили эту забойную «Шизгару» и запрыгали гуртом.

Мы, конечно, надеялись на поддержку, но, признаться, такого не ожидали.

Выламывались кто как мог. Дамочки с фермы выдавали такие кренделя, что с Суслика сползли очки. И где они всему этому научились? Не на ферме же?

Окна в клубе мгновенно запотели. Бедный пол жалобно заскрипел. Опасно заходила ходуном большая люстра из фальшивого хрусталя, что висела под самым потолком. Но никого это не останавливало. Больше того – пришлось исполнить «Шизгару» на бис еще четыре раза. А потом уже вдгонку мы сбацали «Смок он зе вотер» и «Стэрвей ту хэвен» – два последних гвоздя в гроб деревенской скуки и культурной изоляции.

В общем, успех был оглушительный. Нас долго не хотели отпускать. Просили еще и еще.

Мы прокатали заученную программу с начала в конец и с конца в начало несколько раз подряд.

Закончили только к часу ночи, и то лишь когда Айман объявила в микрофон, что празднование Великой Октябрьской революции как событие мирового значения в нашей отдельно взятой деревне прошло на славу, но завтра понедельник и всем с утра на работу.

Нар од приуныл и нехотя стал рассасываться.

Так мы враз стали небожителями.

Никогда – ни до, ни после – я не ощущал такого всеобщего обожания и восхищения.

Ночь я, понятное дело, не спал. Лежал с открытыми глазами и пялился в пустоту. Долго еще в ушах стоял колоночный перегуд.

Думаю, ребятам тоже было не до сна.

А утром нас позвал к себе сам директор. Товарищ Каликов. То есть Есен-ага. Он был из местных, и все его воспринимали как своего безоговорочно.

Нуртай все надеялся при разговоре вставить слово за новые инструменты.

– Салам пацанам! – по-свойски начал Есен-ага и жестом пригласил всех за длинный стол, покрытый красным сукном.

Мы расселись. Есен-ага разлил всем по граненым стаканам водички из графина. Подвинул тарелку с яблоками.

– Слышал, вы вчера народ здорово повеселили!

Мы учтиво помалкивали.

– А я и не знал, Нуртай, что ты на гитаре играешь, – обратился директор к нашему худруку. – Нагыз жігіт сегіз кырлы бір сырлы! Так ведь?

Это поговорка такая: «Настоящий джигит – восьмиугольник с секретом». Ну, это означает – типа клевый чувак, все может, все умеет, да еще и без хвоста. Считается, короче.

Мы приободрились.

– Вот что, ребятки, – перешел к делу директор. – Надо дать еще один концерт.

– Где? – спросил Нуртай.

– На Ушконыре, – сказал директор. – Вы же знаете, там у нас женская зона. Пашуг бабоньки, бедные, от зари до зари. Света белого не видят. Надо бы им хотя бы на пару часов переключить мозг. А то – сами понимаете...

Последняя фраза насторожила Нуртая.

– Что мы понимаем?

– Ну, это я не так выразился, – поспешил с поправкой директор. – Просто хотелось бы устроить женщинам праздник. Подарить, так сказать, пару часов культурного отдыха. Понимаете?

– Мх-м, – протянул Нуртай.

– Да вы не бойтесь, – улыбнулся председатель. – Они обычные женщины. Как все. Просто не повезло им по жизни. Кто не оступается?

– Да мы не боимся, – обиделся Нуртай. – С чего нам бояться?

– Ну и отлично! – поднялся из-за стола директор, давая понять, что разговор закончен. – Значит, договорились?

Мы тоже поднялись.

– На своем шестьдесят шестом и поднимешься, – сказал Каликов и крепко пожал руку Нуртаю. – Я скажу Михалычу, чтоб закрыли тебе путевой. А насчет вас, – Есен-ага повернулся к нам, – я зайду к директору школы.

И мы пошли. За новые инструменты разговор так и не получился.

Некоторое время мы еще постояли в задумчивости на площади перед конторой.

С плаката хитро улыбался нам вождь мирового пролетариата, сильно смахивавший на складского сторожа – дядю Егора...

Дядя Егор Солонец раньше работал в поле, охранял люцерну и был очень набожным. Знал молитвы. Над ним за это потешались. А однажды местные остряки решили его напугать: переоделись в простыни и стали бегать ночью по полю с воплями: «Выходи, Солонец! Наступил тебе...»

С тех пор дядя Егор слегка повредился в рассудке, и ружье у него на всякий случай отобрали. Вручили палку. Вот он с ней и ходил возле колхозных складов. Охранял.

Мы, конечно, понимали, что надо как-то начинать свою музыкальную карьеру, но мало кто из нас мог предположить, что начать ее придется с женской зоны. А куда деваться? Сам Есен-ага попросил. Это ж такая ответственность. Ну и по умолчанию было понятно, от кого зависит покупка новой аппаратуры. Решили: съездим, отработаем, а потом зайдем с этим разговором.

Я бросил прощальный взгляд на вождя гегемона. Вождь, как мне показалось, по-отечески улыбнулся нам и благословил на новые творческие свершения.

В назначенный день мы погрузились в кузов нуртаевского «ГАЗ-66» и отправились по ухабистой дороге в горы. В Ушканыр.

Айман поехала с нами. Мы галантно уступили ей кабину.

В горах нас ждали.

В столовой был накрыт стол со скромным ужином.

Женщины трудной судьбы пока не появлялись.

– Только вернулись в барак, – сообщила завстоловой. – Сейчас переоденутся и придут. Вы пока поешьте.

Столовая представляла собой угрюмое строение с низким потолком и безвкусным интерьером. На стене художник со своеобразными понятиями о симметрии нарисовал пышнотелую гражданку с кувалдой в руках. Надпись внизу в поэтической форме сообщала: «Если ленив ты, какой в этом прок? В жаркой работе тает твой срок».

При этом последние два слова явно не поместились, и художник загнул их вниз, концами в землю, как бы предвещая метафоричный финал.

На подоконниках серели липучки. В них было полно мух. Некоторые шевелились.

Мы невкусно поели.

– Пойдем, притащим все, – сказал Нуртай, и мы отправились за аппаратурой.

Сцены в зале не было. Мы отодвинули столы ближе к стенам и расположились в глубине, напротив входа.

Надо сказать, что поездка в кузове грузовика по горным перевалам не слишком способствовала сохранности и без того подуставших инструментов.

Я стер влажной тряпкой дорожную пыль с тарелки и стал прикручивать ее на штатив. Резьба на головке штатива давно изъелась, и тарелка держалась на честном слове.

За окном быстро темнело. Горная свежесть пробиралась в зал.

Вскоре стали появляться первые оступившиеся. Выглядели они, надо сказать, сильно. В стилистике фильма про живых мертвецов.

Все в поистертых телогрейках двух цветов – желтого и зеленого. И тот и другой давно выгорели на солнце, и ватники приобрели единый сероватый оттенок. На ногах у эзек были преимущественно кирзовые сапоги с налипшей на них грязью. Выражения лиц тоже примерно одинаковые: смесь тоски, отрешенности и хандры.

На Айман вся эта публика подействовала соответствующим образом. Она взяла непослушными руками микрофон и срывающимся от волнения голосом объявила:

Дорогие женщины! Мы очень рады вас видеть! Какой прекрасный сегодня вечер, не так ли?! В любой ситуации есть место для радости! Позвольте начать...

Здесь она, видимо, хотела сказать «наш небольшой» или, как вариант, «наш маленький». В результате получилась смесь бульдога с носорогом:

– ...начать наш *немаленький* концерт!

И мы – начали.

Ромео:

– «Когда уйдем со школьного двора...»

Далее, при ушераздирающей тишине:

– «Там, где клен шумит над речной волной...»

И тут вдруг к нам вплотную приблизилась сбитая, как с поэтического плаката, дамочка в усах, но без кувалды и басовито обратилась:

– Мальчики, а вы можете это: «В Намангане яблочки зреют а-а-арама-атные»?!

А мы как раз могли. Простая такая песенка жизнерадостных узбекских садоводов.

Ну мы и дали про эти яблочки!

И слава богу! И как будто отошло. Отлегло-отпустило. Как будто кто-то невидимый убрал заслонку. И отпер замки. И отворил настежь окна! И – понеслась душа в рай!

Дамы с подпорченными биографиями забыли на некоторое время драматизм своего положения. Слегка размявшись на «Наманганских яблочках», они пустились в лихой пляс под «Шизгару»...

Они принялись скакать с таким остервенением, будто собирались растопить жарким своим отчаянием ледяной холод долгих своих сроков. Как будто хотели продлить неожиданно свалившийся на них вечер воли и отодвинуть неминуемый накат завтрашнего утра. Как будто...

Да это даже и нельзя было назвать танцами. Это была какая-то истерия. Дикая сходка. Праздник нечистой силы. «Шабаш ведьм в стране басков» Гойи.

Бабоньки вопили и свистели. Выли и стонали. Прыгали и трясли телесами. Казалось, они хотели проломить тяжелыми своими сапогами этот проклятый пол и разнести в щепки эти ненавистные стены. Темная нерастратченная энергия заметалась в поисках выхода.

А выхода-то не было.

В какой-то момент беснующаяся толпа опасно приблизилась к условной сцене, где «жарили» мы. Я ждал, что вот-вот кто-то зацепит шнур – и тогда кранты. Тогда может и током шибануть.

Айман стояла рядом, вжавшись в стену. Видимо, пыталась с ней слиться. Я всячески показывал ей глазами, чтобы прибрала провод, но она не шевелилась. Столбняк.

Какая-то дамочка тянула ко мне руки и жалобно скулила:

– А Кристалинскую, мальчики, Кристалинскую можете?!

Она улыбалась во весь свой рот. При этом я видел, что зубы там отсутствуют напрочь в полном составе. Голос ее тонул в общем вавилоне, и я, как замороженный, смотрел, как она шамкает толстыми губами, словно рыба, выброшенная на берег.

Беззубую толкала в спину другая хорошайка, с наколками на лбу.

– Мальчики! «Клен...»! «Клен ты мой опавший»! – вопила она.

– Цыганочку! Цыганочку! – прорывалась третья.

– «Баньку по-черному»! «Баньку...»!

– «Где мой чер-р-рный пистолет?...»!

На последнем припеве «Шизгары» раздался звук битого стекла. Тут же со страшным треском рухнул поломанный стол. Полетели в окна обломки. Кто-то дико завизжал. Кого-то повалили на пол и волоком потащили прочь...

Следом в зал вбежал гражданин с красной повязкой на рукаве. Дежурный контролер. Он прорвался к нам, выхватил микрофон и гаркнул:

– А-атстави-и-ить! ! !

Музыка оборвалась на высокой ноте. В дальнем углу кто-то по инерции продолжал отплясывать в тишине.

– Стоп, машина, – спокойнее произнес контролер. – Отбой.

– До отбоя еще час, гражданин начальник, – тяжело дыша, вставила усатая.

– Абашидзе, – глянул на нее гражданин начальник. – Я тебе могу постелить отдельно. В трюме. Если будешь настаивать, конечно.

– Не имеешь права, – не унималась усатая. – Мы тут культурно отдыхаем.

– Вы тут барнаулите, а не отдыхаете, – возразил гражданин начальник. – Давайте сворачивайте свои бацалки. Концерт окончен. Все по баракам. А ты, Абашидзе, завтра с утра вместе со всем своим ансамблем сосулек лично вставьте стекла и приведете здесь все в полный порядок. Я ясно выражаюсь?

Женщины угрюмо по одной, по двое потянулись к выходу. Через пять минут зал опустел.

– Вы тоже свободны, – сказал человек с повязкой и ушел.

Обратно мы ехали молча. Говорить о чем-либо не хотелось.

Мерно гудел мотор шестьдесят шестого. Из-под колес вылетали испуганные совы.

Изнанка жизни предлагала калорийную пищу для размышлений.

К часу ночи вернулись к себе в клуб. Затащили инструменты.

Айман все еще пребывала в ступоре. Сердобольный Суслик пошел ее провожать.

– Нет уж, – произнес тяжело Нуртай, надевая свою кепку на гипсового Горького, – лучше уж со старой гитарой у себя в клубе, чем с новой хрен его знает где.

Мысль была поддержана единодушным молчанием.

С тех пор мы каждое воскресенье играли на танцах. У себя в клубе.

...Слава наша бежала впереди нас.

В поселок стали наведываться болелы из соседних сел и кишлаков. Постепенно мы, условно говоря, нацепили корону культурной столицы всего района. О нас даже написали в газете. В районке. В «Ленинском знамени». Была такая. Там опубликовали статью на целый разворот под названием: «Отчет директора совхоза тов. Калико-ва Е. Н. о состоянии дел в ордена Ленина картофеле-овощном хозяйстве имени Ленина».

Так вот...

Там в заключительной главе были такие строчки: «...в целях развития культурно-массовой работы силами инициативной молодежи в совхозе «Первомайский» организован вокально-инструментальный ансамбль, который с успехом выступил на праздновании 61-й годовщины Великого Октября и частенько с неизменным успехом выезжает с концертами в гости к трудовым коллективам на чабанские отгоны и полевые станы».

Да, так и было написано «с неизменным успехом»! ..

Весной семьдесят восьмого в моду вошла обувь на платформе.

Больше всех этому обстоятельству обрадовался Суслик. Дело в том, что он не очень вышел ростом в силу бесцветной наследственности (отец и дед безбожно пили), и тут мода сама сделала ему навстречу широкий сердобольный шаг.

Вообще, не стоит, наверное, говорить о том, что мы задавали тон во всем. В том числе и в одежде. Не то чтобы нас считали иконами стиля, но наша манера одеваться по-прежнему оставалась одной из самых обсуждаемых тем в поселке. А потом уже и во всей округе.

Если честно, перепробовав в массе своей самый причудливый прикид, мы тихо мечтали о джинсах. О простых американских джинсах. Но достать их где-либо не было на тот момент никакой возможности.

И тогда...

Тогда снова выступила с инициативой непревзойденная находчивость Нуртая. Правда, на этот раз ради искусства пришлось пойти на преступление.

В общем, мы выкрали брезент главного зоотехника совхоза Гуревича Ивана Петровича, которым он накрывал свой старенький «Москвич».

Брезент мы порезали на куски, и Нуртай собственноручно пошил всем штаны. Джинсы. С карманами на заднице.

Получилось вполне себе ничего. Почти как у «ледзепелинов». Правда, наши джинсы тяжело гнулись в коленках – брезент попался качественный – и за день немилосердно натерали самые сокровенные наши места...

Как бы это поосторожнее сказать-то?

Короче, шов приходился аккурат промеж бубенцов. В связи с этим обстоятельством у нас у всех неожиданным образом поменялись походки. Мы стали ходить на одинаково прямых ногах – что в известной степени оправдывал дух коллективизма. Все сочли это за очередной фокус. Типа еще один выкрутас модной группы. Правда, к чему он и в чем его тайный смысл, никто вникать не стал. Да и чего спрашивать? Проглотили. Мол, чего с них взять, они ж художники, творцы. Они ж так воспринимают мир.

Пофорсили мы так с недельку, перетерпели, когда штаны чуток поизносятся, а потом решили покрасить свои чудо-джинсы.

Суслик предложил вымочить их в зеленке. Нуртай смешал зеленку с марганцовкой и положил штаны в огромный таз. Сверху придавил камнем и оставил на ночь.

К утру джинсы приобрели зеленовато-болотный оттенок.

Теперь мы выглядели на все сто. Единственный нюанс, который мы не учли, – эффект зеленки.

В общем – краска страшно липла к ногам. Буквально по всей длине штанин. И не только к ногам.

Каждый вечер, после того как мы со вздохом облегчения снимали эти самые супер-пупер-штаны, приходилось подолгу сидеть в тазу с прохладной водичкой. Отмачиваться. Горело все. Да еще этот ужасный армейский цвет...

Мало кто знал, что мы – носители всей этой красоты – ходим, как водяные с ближайшей трясины, с зелеными ногами и, пардон, такого же цвета промежностями. Понятное дело, насчет этого мы помалкивали. Зачем? Пусть завидуют, думали мы.

И нам завидовали.

Оставалось каким-то образом решить проблему с волосами. Мы ж косили под «ледзепелинов».

Честно говоря, никого наш моднющий вид не раздражал. Некоторые учителя даже шутили. Иные бурчали, возмущались, ставили на вид, но до крайних мер не доходило. Один лишь военрук бегал за нами по школе с ножницами.

А однажды он все-таки подкараулил у туалета Суслика. Поймал его там, затащил к себе на кафедру и оттяпал ему клочок на затылке. Пришлось Суслику подстричься под полубокс, и теперь он выглядел явно инородно на общем нашем авангардном фоне.

Но и на военрука нашлась управа. Произошло это так.

Наступило лето. К тому времени Айман уже покинула нас и уехала обратно в город. Забористые будни деревни окончательно исчерпали запас ее просветительского энтузиазма.

Теперь Нуртай общался с директором совхоза напрямую. Это иногда приносило некоторые дивиденды.

Как-то мы давали концерт в честь Дня Победы. В клубе собралось много народу, в основном старики, и мы им пели с удовольствием душевные фронтовые песни. Солировал, естественно, Ромео. Его тонкий неокрепший голосок, как никакой другой, подходил под этот слезоточивый антураж.

Все проходило чинно и благородно. Ветераны подпевали. Смотрелось и слушалось все это тепло и трогательно. Некоторые прослезились. Директор окончательно сломался на строчке: «У деревни Крюково погибает взво-о-од...»

Как-то у Ромео это очень жалобно вышло, и директор громко высморкался в платок. И все это заметили.

На следующий день Есен-ага лично пришел к нам в школу, отозвал в сторонку военрука и о чем-то с ним долго беседовал. Военрук после этого разговора притих, надо полагать – затаил обиду, но с тех пор перестал гоняться за нами с ножницами. Он так и не понял, этот ду-боломный военрук, что длинные волосы – это не прихоть. Это – неотъемлемая часть сценического образа. А образ, в свою очередь, напрямую связан с творческим вдохновением.

Это – что касается мелких барышей.

Что касается вещей более предметных и значительных, то вскоре нам стало ясно, ради чего, собственно, и затевался весь этот гешефт с гитарами и барабаном.

Полтора года маленькими шагами вел нас Нуртай к этой цели. Полтора года нещадно било током Суслика, пока он паял гитарные шнуры. Полтора года заучивал тексты на разных языках Ромео. Полтора года мотались мы «по долинам и по взгорьям» в трясках салонах попутных автобусов и пыльных кузовах машин, выступая «с неизменным успехом на чабанских отгонах и полевых станах»...

В общем, однажды к нам в клуб появился Сергали. Самый удачливый местный дуэлянт и дебошир.

Сергали пришел и сказал, что решил взяться за ум, что престарелая маман достала, что пора остепениться, что Кульпаш все равно залетела... Короче, у него в субботу свадьба, и он хочет, чтобы мы там «сбавали чё-нить не по-детски».

Нуртай взял Сергали под локоточек, и они вышли потолковать на «понял-понял».

Там, перед клубом, они затянули по сигаретке, и Нуртай ему по-братски разложил калькуляцию. Сергали чуть не подавился от такой наглости сигареткой и зашипел:

– Да ептыть, я за такие бабки Пугачеву позову!

На что Нуртай холодно вскинул брови и скрестил руки на груди.

– Да ептыть, я у себя во дворе балет на льду устрою!

Нуртай не сменил позы, лишь задумчиво поднял глаза к небу.

– Да ептыть, я за такие бабки сам станцую и сам спою!

Нуртай устало вздохнул и сделался сильно скучным.

Сергали это окончательно надломило, и он сдался.

– Ладно. Хрен с тобой.

Обратно Нуртай вернулся в приподнятом настроении, и мы сразу же взялись репетировать «Той жыры».

Тут надо остановиться и объяснить популярно, что такое «Той жыры».

Если коротко, то это незабвенный шлягер всех времен и народов. Забу-бенистая штучка, без которой не обходилась и не обходится до сих пор ни одна приличная сельская свадьба. Культовая вещь, что там говорить.

В чем секрет «Той жыры»>?»

Трудно сказать определенно. Наверное, у всякой знаменитой вещи есть некий заряд прочности, который позволяет вступать в смелую перепалку со своим почтенным возрастом, несмотря ни на что.

Первые же аккорды настраивают людей на праздничный лад. Только бесчувственный чурбан не станет приседать и прихлопывать.

Ну и слова, что называется, правильные:

*Махаббаттың кудірет қуш! зділеп,
Екі жастың табыстырған жүрегі.
Жастық, жалын, асъл арман, аң ниет,
Бақыт сыйлап ұсынылды гүядері. ..*

Что в вольном переводе можно изложить следующим образом:

«Двух молодых реально укачала запредельная сила любви, сердца их стали биться в унисон. Пламя молодости, запредельные мечты и желания ведут их теперь по пути счастья, выстилая дорогу всякими разными хризантемами и розами...»

Дальше идет не менее пышный куплет. А после куплета уже следуют победительные выкрики каратистов:

Кия! Кия! Кия!

Ну, это уже так – вензеля и узоры к пафосному контексту. И, естественно, это уже никак не переводится.

Это была наша, если можно так выразиться, премьерная свадьба. Прошла она как по маслу. Если не считать единственного казуса с полетевшей в гущу танцующих тарелкой. Она к тому времени уже окончательно сточила резьбу и отвалилась прямо со стойки. Ее мне любезно принесли обуатно официанты. На подносе. Во всем остальном все прошло на ура.

Проводив Сергали в новую жизнь, мы стали гастролировать по всему району.

Боже, кого мы только не женили! На каких свадьбах только не играли!

Иногда нас звали и на дни рождения. Юбилеи. Годовщины. Закрытые вечеринки. Как-то нам довелось даже выступить на торжестве по случаю обрезания.

Теперь уже нам не нужно было воровать автомобильные тенты и шить из них сценические костюмы. Теперь мы заказывали одежду в рацентре. В настоящем салоне.

Тамошние мастера знали наши размеры на память и сами искали в журналах про моду последние фасоны.

Что и говорить, мы шиковали. Жизнь повернулась к нам лицом и улыбалась своей самой ослепительной улыбкой.

И все же это был бег по кругу. Все это понимали. Нас ожидал неминуемым творческий кризис. И тогда Нуртай заявил:

– Хватит петь чужие песни. Пора сочинять свои.

– Ну хорошо. А кто их сочинит? – задал резонным вопрос Ромео.

– Да хотя бы я, – сказал запальчиво Нуртай и удалился.

Мы ждали.

Он появился дня через три. С синими кругами под глазами. Возбужденным. Энергичным. Молча взял гитару и запел.

Мотив показался нам слегка разбитным. Что-то между ранним Шу-футинским вперемежку с поздним Розенбуумом.

Мне запомнилась фраза: «Маруська, эх, Мару-мару-маруська! Я забыл, какого цвета твои синие глаза...»

Нуртай в последний раз ударил по струнам и замолк. Ребята кисло переглянулись. Аплодировать никто не спешил.

М-да. Сермяжная правда размазала наши надежды по асфальту. Занавес, что называется, медленно опустился. Мы поняли, что нам так и придется почивать на лаврах чужих творческих достижений.

И тут – телеграмма. В правление совхоза. Из райкома. На имя директора. Так, мол, и так, приглашаем коллектив ВИА совхоза «Первомайский» «...принять участие в смотре-конкурсе художественной самодеятельности, посвященном 60-й годовщине Ленинского комсомола».

По такому случаю нас заставили вырядиться в строгие костюмы: черный верх, белый низ. Мы стали похожи на королевских пингвинов. Как вариант – на похоронный квартет.

Выделили автобус.

Есен-ага, провожая нас, твердо сказал:

– Если выиграете – купим новую аппаратуру. Обещаю.

И мы поехали. На совхозном «пазике». С нами – группа поддержки. Преданные фанаты.

А дело было уже к осени.

И тут, за два дня до конкурса, произошла натуральная диверсия. По-другому я случившееся назвать не могу.

Нуртая неожиданно вызвали в военкомат и обрили наголо. Буквально под чеснок. Он, конечно, пытался сопротивляться, но там люди военные. Про искусство ничего не знают. Живут по уставу.

Короче, когда он в таком виде появился на очередную нашу репетицию, в зале, что называется, повисла мертвая тишина. Примерно такой же сценой заканчивается спектакль «Ревизор».

– Мама! лишь вырвалось у Суслика.

– Нет, это я, – ответил Нуртай и цветисто по-шоферски выругался.

А что прикажете делать? Не отменять же выступление из-за нур-таевской плеши. Да и как директору объяснить? Он – человек земной. Не поймет.

Короче, судьба постучалась в наши двери – и мы решительно рванули ей навстречу.

Приезжаем, значит, в райцентр. В районный Дом культуры с колоннами и балюстрадой.

Народу-у-у – не продохнуть!

В кулуарах – суета. Все бегают, носятся. Какие-то оркестрики, разодетые в пух и прах, какие-то танцевальные ансамбли™, балеринки, понимаешь, на тонких ножках, хор мальчиков с ангельскими голосами, дородные тетки в кокошниках, грузины в национальных камзолах... И все держатся как-то солидно. Видно, что бывалые. У всех свои руководители. Дирижеры во фраках. С палочками. Один даже в пенсне. И все друг с дружкой здороваются. Чмоки-чмоки. Как поживаете? Да как вы прекрасно выглядите! ..

Боже мой!

Междусобойчик такой у них, значит.

И тут – мы. Печенег с гитарами. И на нас ноль внимания. Никто даже не замечает. Ясный перец – чужаки.

В зале – миллион людей. Набилось под завязку.

Наши болелы устроились на самых задних рядах и машут нам оттуда ручонками. Типа поддерживают. А на самом-то деле смотрятся будто прощаются.

Впереди рядком заседает комиссия. Суровые такие дядьки с тетками.

И все эти оркестры с ансамблями выходят на сцену по очереди и исполняют. И, надо сказать, здорово исполняют. Ничем от телевизора не отличишь. И, как назло, у всех – ноты. И смотрят они, значит, в эти свои ноты – и исполняют, сволочи.

И до нас потихоньку начинает доходить: никакая это не самодеятельность, а самые настоящие профессионалы. Короче – подстава. Са мая натуральная подстава.

А как мальчики из хора затынули, так в зале аж комиссия платочки из карманов повынимала.

Ну чего там говорить? Признаться, мы оробели. В такой атмосфере нам выступать еще не приходилось.

Да и что мы видели? Свадьбы с обрезаниями да зэчек с наманганскими яблоками. А что касается комиссии с нотами...

Можно было бы попробовать залепить им «Шизгару». Но это же палево чистой воды. И мы это сразу осознали. А тут еще, как выяснилось, нас запихали в самый хвост. Говорят, на больших концертах туда обычно ставят самую полноту. То есть авторитет. Это, наверное, потому, что авансов нам заранее навывадали, разговоры ходили, вот и решили организаторы жажнуть напоследок, поставить, что называется, вместо малюсенькой точечки жирный такой восклицательный знак.

Мы с ужасом ждали своей очереди. Нуртай лихорадочно соображал, что делать и как быть. В итоге он упросил каких-то гладких ребят в галстуках, что выступали перед нами, одолжить на пару минут инструменты. У них гитары были... ну просто блеск! Не чета нашим.

– Так хоть выглядеть будем прилично! – пояснил Нуртай, отчаянно сверкнув выбритой начистой своей башкой.

И вот объявляют нас. Ведущий так и залепил:

– А теперь – новинка сезона! Выступает вокально-инструментальный ансамбль «Майские жуки»!

Зал утонул в овациях. Захлопали, затопали, засвистели. Публика-то уже была разогрета всеми этими сладкоголосыми мальчиками и глгучими грузинами.

Мы ступили на сцену и рассредоточились. Занавес еще не поднимали. Я сел за ударную установку и одеревенел.

На этой установке было столько примочек, каких я в жизни не видел! .. Я-то привык к своим родным двум барабанам и несчастной тарелке. А тут барабаны высились надо мной, как расстрельная бригада, и тарелок повешено было по кругу – не сосчитать. И для чего их столько – непонятно.

Пацаны воткнули штекера. Приладили микрофоны. И занавес стал медленно раздвигаться.

Со стороны мы выглядели, надо полагать, эпохально.

Первым стоял Ромео. Волосы его ниспадали волнами на самые плечи. Чуть левее от него держался Нуртай. На его ослепительной лысине играли прожектора. Затем уже я. Меня, слава богу, не было видно за кучей барабанов. Ну и Суслик жался в углу. Он, идиот, не успел подтянуть ремень своей гитары, и она свисала почти до колен. Так он и стоял, подавшись вперед, как орангутанг на табурете.

Публика заулюлюкала.

Мы начали со своего неизменного вальса. И как только Ромео взял аккорд, мы поняли, что это... конец. Капут. Провал. Причем не просто провал, а самый что ни на есть провальный провал.

Оказалось, гитары, которые мы одолжили у выглаженных ребят, настроены на три тона выше. А мы, придурки, не удосужились их даже проверить. В общей суматохе нам это просто не пришло в голову. И теперь за всю эту красоту приходилось платить. И первым платил Ромео. Платил он, надо признаться, дорого. С первых же строк он запищал неестественно высоким, каким-то совершенно мультяшным голосом:

– «Когда уйдем со школьного двора...»

Это было похоже на пропасть, в которую ты несешься на полном ходу с отказавшими тормозами. И ничего поделать уже нельзя. И летит твоя жизнь перед глазами пестрыми картинками, да еще и тормашками вверх...

Оставалось только зажмуриться.

А на нас неумолимо накатывал третий куплет. Его надо брать на тон выше.

– «Пройди по тихим школьным этажам...»

Я молча ушел в себя и застегнулся там на все пуговицы. Типа меня здесь нет, я в домике.

А Ромео, бедный, надрывался. За всех за нас. Ему было несладко. Я видел, как моментально взмокла на спине его рубашка и натянулись, вот-вот готовые лопнуть, жилы на шее.

Доставалось и пацанам. Они должны были местами вставляться -и они надсадно подпевали. Правда, опять же какими-то чужими, кошачьими голосами.

Что касается публики...

Ну...

Если честно, реакция была неоднозначной. С одной стороны, как бы единодушно. С другой...

Короче, они ржали, козлы. Они, можно сказать, угорали по-черному. Некоторые ползали под креслами и катались там. В общем, стоял дикий хохот.

Мы стойчески дотянули милую песенку до конца и, когда занавес закрылся, побросали гитары и незаметно через черный ход дали деру. На улице нас уже ждал заведенный «пазик». Мы рванули с места, как группа диверсантов, оставляя за собой руины взорванного моста.

Где-то через часик за нами приехали болельщики.

Кстати говоря, они были сильно удивлены. Они сказали, что мы зря сбежали. Что публика была в восторге. Что звали на бис. Что наше выступление оказалось самым оригинальным. Самым, можно сказать, неожиданным. Все решили, что это такой специальный номер. Стеб такой. Типа пародия.

С одной стороны, это должно было бы нас обрадовать. С другой, это означало только одно: нас приняли за клоунов. И это звучало как приговор. Выход на большую сцену нам больше не светил.

Мы ждали, что нас вызовет Есен-ага. Но он не звал. Видимо, доложили. Ну и Нуртай к нему не шел. Из гордости.

Мы еще недельки две потрындели у себя в клубе, а потом Нуртая забрали в армию.

Он слал нам письма. Писал, что создал у себя в войсковой части ансамбль и теперь гастролирует с ним по всему Приморскому краю.

Мы нашли на карте этот Приморский край. Ромео даже раздобыл где-то альбом с картинками. Ничё так места. Леса, озера. Пушкина.

А ансамбль наш развалился. Некем было заменить Нуртая. Как говорят в парижках – селяви такое.

Хотя какое уж там «селяви»? Вон даже «Лед Зеппелин», говорят, развалились с «Битлами». Говорят, деньги не поделили. А нам-то с пацанами чего было делить? Мы же, что называется, так, погулять вышли.

Смогу ли я?

-Хочу ли я?..

Могу ли я?..

Говно ли я?..

Магнолия!

Мне 12 лет, и я иду на футбол. Мяч под мышкой. На футболке – номер 10. Как положено. И надпись на спине – «Месси». Ну а как же! Не писать же: «Роналду». Или там – «Бэкхем». Они уже давно не футболисты. Они – модели.

Роналду уже опустился до того, что рекламирует шампунь от перхоти.

Да ладно. Фиг с ним.

Иду я, значит, на поле наше футбольное, что сразу за поселком. Там проплешина есть такая – ровная как стол и твердая как камень. Утоптали за столько-то лет.

Солнце уже зашло. Смеркается. Дневная жара сменяется вечерней прохладой. В ауле – благодать. Ветерок с гор.

Уже и коровы с пастбищ возвращаются. Ильяс-ата, местный пастух, гонит овец. Пыль столбом. Сейчас пацаны скот по сараям закроют и на поле потянутся. Поиграем. А пока можно размяться. На турнике повисеть. Времени как раз хватит.

Честно говоря, командеха у нас так себе. Слабенькая. Вечно проигрываем базовским.

У них там и состав поровней, и игроки поопытней. Наигранные. Сколько раз чемпионами района становились!

Амы...

У нас – одна мелюзга. Только начинают. Ни навыков, ни сил, ни мастерства. Одно желание. А на одном желании, как известно, далеко не уедешь.

Но ничего. Еще год-два – и подтянутся. Заиграют.

И вот подхожу я, значит, к полю нашему, гляжу – парень какой-то у ворот сидит. Бутсы натягивает. Спина ко мне. Вроде как не из наших. Во всяком случае – не похож. Может, из новеньких кто, думаю. Из приезжих. Может, оралман?

Подхожу ближе. Оборачивается.

Боже мой! Глазам не верю. Обама! Собственной персоной. Молодой еще. Лет 20-25 от силы.

– Барак? – почти выкрикиваю я от неожиданности и спешу поправиться: – Барак-ага?!

– Аха, – отвечает он буднично и протягивает руку – Салам. Как сам?

– Да ничего, – отвечаю. – А вы как здесь?!

– Да вот, – говорит, – переехали сюда. Всей семьей.

– В наш аул?!

– Аха. А что? Мне нравится. Тишина и покой.

– И что, – спрашиваю я, совершенно обалдевший, – и Мишель с вами?

– Конечно, – говорит и забирает у меня мяч. – И Мишель, и дети. Думаю и стариков своих перетащить. Сюда. Со временем.

И начинает чеканить. И вполне так уверенно чеканит. Видно, что играющий.

– А что же Америка? – спрашиваю. – Разонравилась, что ли?

– Да ну ее! – машет он рукой. – Надоело.

– Чего надоело?

– Да надоело все время: «Черный президент! Черный президент!» Сколько можно?

– Но вы и в самом деле, – робко подмечаю я, – не очень белый...

– Да знаю я, – злится Барак. – Что у меня – зеркала нет? Ну сказали раз, сказали два. Чего все время об этом трюндеть?

– Вообще-то да, действительно...

– Да и потом, – разошелся вдруг Барак, – насчет Америки я тебе так скажу: там все слишком наговорено. Кругом фальшь. Двуличие. Мыльные пузыри. Национальные комплексы.

– Какие-какие комплексы?

Национальные, – повторяет. – Надоело все это слушать. «Мы самые офигенные! Мы самые лучшие! Мы – супер-пупер! Мы – держава!» Сколько можно?!

– Но это же правда, – уже потверже возражаю я.

– Ну и что? – говорит. – Ну правда. Чего орать-то об этом на весь свет? Скромнее надо как-то. Меня вон родители в детстве учили быть проще. Не высовываться лишний раз. Не бить себя в грудь. Хотя я в школе неплохо вроде учился. И в баскетбол играл за университет. Больше всех очков набирал в первом периоде. И что?

– Что?

– Нельзя так. Вон и Анжи тоже так считает. Скоро она тоже сюда переедет. Ей тоже вся эта бодяга поперек горла.

– Какая Анжи?

– Ну Меркель. Анжела. Мы ее у себя Анжей называем. Она же сейчас в положении. Ей чистый воздух нужен. Сына ждет. Говорят, Нурсултаном хочет назвать.

– Как???

– Нормальное имя. А что?

– Но почему?!

– Ну как – почему? На фарт.

– На какой еще фарт?

– Ну, чтобы везло ему потом по жизни, – спокойно так отвечает Барак. – Говорят же: как корабль назовешь, так он и поплывет.

– Мало ли что говорят! – пытаюсь спорить я. – Еще говорят, что везет только дуракам.

– Да ты что? Разве Нурсултан – дурацкое имя?

– Нет, – пожимаю я плечами, – не дурацкое. Обыкновенное.

– Это для вас – обыкновенное. А для нас... Ну сам представь: немец, и вдруг на тебе – Нурсултан. Прикольно же.

– Ну... не знаю. Как минимум – неожиданно. А почему бы его не назвать там Ганс или, к примеру, Адольф?

– Да ну! Это ж банально, – отвечает. – Неинтересно. Тем более я слышал, тут всех мальчиков, рожденных в июле, так называют. А она как раз сейчас на последнем месяце.

А что же Олланд? – спрашиваю тогда я.

– Что – Олланд?

– Ну этот ваш – Франсуа. Он не думает сюда ехать?

– Нет, – отвечает. – Он же голубой. А я слышал, здесь не любят геев.

– Это точно. Геев здесь не очень того...

– Между нами говоря, – наклоняется к моему уху Барак, – я их тоже недолюбиваю.

– Да ладно, – недоверчиво кошусь я на него. – Вы же сами вроде подписывали указ о разрешении однополых браков.

– Да это все конгрессмены из Алабамы, – морщится Барак. – Это они продавили, козлы. У нас там нынче восемьдесят процентов конгресса – пидарасы.

– Что вы говорите?!

Я тебе отвечаю, говорит Барак. Нан урсын чтоб я сдох!

– А этот?

– Кто?

– Ну этот... Он вроде тоже один из ваших. Шустрый такой. Китаец. У него еще жена молодая. Поет. Имя забыл.

– Цзиньпин, что ли?

– Ну, наверное. Я их все время путаю.

– Да я их сам путаю, – говорит Барак. – Они ж все одинаковые. Как с конвейера.

– Согласен.

– Да ему-то зачем? – говорит Барак. – Они же никуда не торопятся.

К тому же живут с вами через забор. Вон уже многие перелезли. Вскоре и остальные попрутся. Глядишь, еще лет пять – и все здесь будут. Оно к тому и идет.

– И все-таки я не совсем понимаю, – настаиваю я, – с какой стати вы вдруг все сюда рванули?

Тут Барак перестает чеканить мяч. Садится рядом на травку и задумчиво так говорит:

– Понимаешь, брат. Если честно, хочется просто проверить себя. Причем проверить на экстриме. Задать себе вопрос так жестко, в лобешник что называется, наотмашь: «А смогу ли я?!»

– Что – «смогу»?

– Начать все с нуля.

– Как это?

– А вот так – с голой жопой в голом поле. Посреди выжженной степи. И чтобы никаких перспектив. Жестяная жесть. Трубейная труба. Скажи же! По кругу враги и предатели. Рвачи и казнокрады. Куда ни глянь – всюду полный пипец. Вор на воре. Фуфло на фуфле. Бардак. Все продано. Все куплено. Страны, по сути, нет. Вместо нее какое-то невразумительное пятно на карте. Жизнь – вранье. Душно и противно. Воняет. Дышать нечем. И позор на весь мир. А ты сидишь – посреди этого позора – и делаешь вид, что все нормалек. Что все типа путем. А сам прекрасно понимаешь, что никто тебе уже не верит. Даже ты сам уже себе не веришь. И про тебя люди уже анекдоты сочиняют. Для кого-то ты все еще пугало, а на самом-то деле давно превратился в посмешище. Короче, ты в полном дерьме. А выбираться из этой задницы надо. Потому что если не выберешься, то сам себя уважать перестанешь. Понимаешь?

– Понимаю, – вздыхаю я. – Но вам-то это зачем?

– Говорю же, – смотрит мне в глаза Барак. – Проверить хочу: получится – нет?

И замолкает.

И я затыкаюсь.

И как-то хреново так на душе сразу становится. И так тоскливо. И мысль такая подлючая в мозгу закипела: а ведь прав Барак. Не жизнь это, а так – фигня какая-то. И живем мы посреди этой фигни – и только делаем вид, что нас все это устраивает. Привыкли. Принюхались. А ведь надо что-то делать. Выбираться как-то...

А как? Ради кого? Ради чего? Кто заценит? Кто поддержит? И главное – кто впряжется?

Никто. Так, пошумят, погорланят да и расползутся по углам.

Устали все. И никому ни до чего дела нет. Короче, не страна, а так – сборище неудачников.

Те, кто был поумней, уехали давно. Те, кто не смог, остались и пыхтят. Позорники. И я – один из них.

На кого теперь надеяться? На Барака? Он, конечно, хороший мужик. Компанейский. И мысль у него светлая. Благородная. Да ведь не знает он, что ничего ему тут не светит с его благородством. Забыли здесь это слово. Да и с десятков других важных слов забыли, которые нам в детстве родители наивные пытались втемяшить. Не помнят. Другие теперь здесь понятки. Другие установки. Другие слова...

– Ну а сам-то ты как думаешь? – спрашиваю. – Получится?

– Я?.. – Барак хмурится и долго молчит. Потом грустно так отвечает: – Если по правде... Не знаю. Не уверен. Но попробовать надо. Так ведь?

И поднялся на ноги.

Как раз пацаны подошли. Можно было начинать.

Я-к ним.

– Пацаны! Пацаны! Гляди, кто к нам приехал! Это ж Барак! Узнаете?

В ответ – галдеж:

– Конечно!

– Еще бы!

– Видели!

– Знаем!

– Ну так вот, – объявляю я громко, чтоб слышали все, – с сегодняшнего дня он играет за нас.

– Это почему – за вас? – послышались недовольные голоса.

– Потому что мы – слабаки. А ему надо проверить себя.

И все замолчали. Все сразу согласились.

Ну правильно. Где же ему еще себя проверять? Только у нас. Больше нигде.

Слово Аксакала

Жил когда-то у нас в ауле старик Ералы. Самый старый в наших краях старик. Было ему на тот момент где-то под девяносто. А может, и за девяносто. Никто точно не знал. Да и сам он не очень помнил.

Обычно лежал он у себя в саду на топчане, с щепоткой насвая за губой. Смотрел в небо. Думал свою аксакальскую думу.

До сих пор перед глазами эта картинка.

Тенистый сад. Вишни. Сыто гудят в цветах урюка полосатые шмели. Скачут воробы наглые, склевывая с дастархана хлебные крошки. Бабочки садятся на выпцветшую тюбетейку старика. Но он не видит их. Да и старика мало кто замечает. Слилс с этим миром. И лишь пестрая его корпешка словно малая заплатка в окружающем многоцветье... Конфуций.

Изредка все-таки его беспокоили. Поднимали и увозили: кто – на похороны, кто – на свадьбы. Усаживали на почетное место – *тер* – и давали слово. Первому. Так было положено. Ералы-ата произносил какие-то незамысловатые слова о совести, о чести, о достоинстве, о праведной жизни и – замолкал. Больше от него ничего и не требовалось. Дальше уже шло собственно действие, ради которого и собрались.

Не сказать, чтобы его так уж обожали в селе или каким-то образом выделяли, этого мало-словного старика. Нет. Просто он был живым воплощением традиции. Носителем некой важной информации, о которой мало кто знал. Или помнил. Настолько она стара, казалось, эта информация. И банальна. И говорить о ней вслух, по большому счету, не имеет уже смысла. Другое время на дворе. Другие нравы. Никто ведь не задается вопросом, почему солнце движется с востока на запад. Или почему за осенью непременно следует зима. Просто так оно заведено – и все.

И вот, помню, однажды Сарыбай – был у нас такой весьма пакостный мужичок в селе, заведовавший водоснабжением поселка, местный Посейдон, – в самый разгар полива взял да и перекрыл воду. Закрутил кран, повесил на него замок и закрылся у себя дома...

Он всегда так делал, народ к этому привык. Бизнес у него был такой. Богомерзкий.

И снаряжались посольства к этому самому Сарыбаю. Люди складывались дворами и шли на поклон: кто барана приволокет, кто мешок с картошкой, кто куль с мукой, а кто и с деньгами наведается. Без соответствующей мзды никто не появлялся. Бесполезно.

С каждым разом Сарыбай все больше наглел. Такса росла. Начались раздоры, потому что у кого-то получалось договориться, у кого-то – нет. Драться – бессмысленно, поскольку сарыбаевскую позицию защищали уже те, у кого вода в огороде была.

И вот едет, бывало, Сарыбай на своем сивом мерине по деревне, проверяет арыки – да и потешается. Власть свою над людьми чувствует. На одного шикнет, на другого крикнет, а кого и камчой огреет. На кого-то бумагу составит, оштрафует, если увидит, что воду в огород завернули без его ведома.

А вода в поселке нужна всегда. Не только в полив.

В общем, дело приняло совсем дурной оборот. Люди разделились на кланы и улицы, перестали ходить по гостям. Стали «дружить по интересам», то есть против, а не за. Слухи

пошли всякие. Обо всех и обо всем. И главной темой всех разговоров был, естественно, Сарыбай. Для кого-то чуть ли не отец родной. Кормилец. Для других – упырь и кровосос. Мироед.

Короче, поперла грязь из человеков. А хуже этого в ауле ничего нет.

И тогда поднялся со своего топчана Ералы-ата. Оперся на свою высохшую, как он сам, кривую палку и захромал к Сарыбаю домой.

Недолго у него пробыл. С полчаса. Никто не знает, что он там ему такого сказал. Только помню, что вышел на крыльцо Сарыбай как побитая собака, забрался на свою клячу и погнал на развязку. Отвинтил кран, снял замок и пустил воду в поселок. Потом собрал наскоро свою семью и уехал. Неведомо куда. Так и не появился больше.

А почему уехал?

Стыдно стало. Не мог оставаться, людям в глаза смотреть.

И вернулось все на круги своя. Помирились люди, повинились друг перед другом. А то как жить? Дети ведь растут, видят все. У нас ведь как говорят: «Ўяда кергенді! ушканда гледі». То есть что в детстве видел, то и будет тебе ориентиром по жизни.

К чему я вдруг вспомнил старого Ералы?

Где-то в казахской прессе я говорил с сожалением: «Стариков у нас много. Аксакалов не осталось».

А кто такой – Аксакал?

У нас это не просто человек преклонного возраста. Это – носитель информации. Носитель Слова. А Слово в Степи почиталось за оружие. Словом можно поднять, словом можно опустить. Словом можно воскресить, словом можно убить...

Красиво стареть – искусство. Не каждому оно дано. И далеко не каждому по плечу стать с возрастом настоящим аксакалом. Вот о чем разговор.

Завели у нас такую традицию. Президент в конце года встречается с заслуженными стариками. По смыслу вроде как хорошее дело, но что-то там не так. Смотрится весь этот «аттракцион невиданной щедрости» убого и некрасиво. Неприятное послевкусие оставляет. Потом эти встречи по телевизору показывают. Одна такая встреча мне запомнилась. Остальные уже не смотрю – стыдно.

Лет десять назад это было. А может, и больше. Многих уже нет на свете. Да простят меня их покойные души. Никого не хочу обидеть, я ведь не о них, я – о спектакле.

У Абая есть строки: «Осы, біздің, казактын елген ытасіде жаманы жок, т!р! юаешс жамандаудан аманы жок» – «У нас, у казахов, среди мертвых нет плохих, а среди живых нет тех, кто бы уберется от плохого». Абай был мудрым человеком.

Пришли, значит, к президенту деятели культуры. Им должны были что-то там вручать по какому-то случаю, я уже не помню по какому. Мало ли у нас нынче разных праздников в календаре по случаю и без? Кто-то пришел сам, собрав невеликие силы. Кого-то привели под руки дети и внуки. Кого-то прикатали в колясках. Всех их, увешанных орденами и медалями, усадили в просторном зале за большим овальным столом. Появился президент. Деятели культуры, как водится, стали по очереди признаваться ему в любви и преданности.

Иван Щеголихин сравнил президента со своим отцом. Бесстрастная камера скользнула по лицам обоих. Писатель выглядел явно старше своего «отца». Видимо, он и сам это понял. Пospешил исправиться и сравнил Елбасы с богом. Мне показалось, бог услышал. Возможно, удивился, но на всякий случай слегка подвинулся, уступая радышком место.

Далее выступления пошли гуськом. Старики сменяли друг дружку у микрофона, приводя примеры политиков-долгожителей, прозрачно намекая на то, что вечность – категория относительная. Некоторые своим видом красноречиво это подтверждали.

Кто-то не совсем удачно вспомнил Черчилля, видимо позабыв, что незабвенного премьер-министра пару раз со скандалами смещали. Правда, потом просили вернуться, пока премьер развлекал себя художествами на пленэре.

Роза Багланова обратилась к президенту со словами: «Аи; патшам!» Буквально – «мой белый царь». По-русски примерно как «Ваше Величество».

Старики еще долго соревновались в словоблудии, но так и не смогли выявить победителя. С тем и разошлись.

Осталось после всего этого странное ощущение. Зафанило чем-то. Плесенью потянуло. И вопросы полезли в голову всякие нехорошие.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.